

ФЕРАПОНТА АНДОМИНА СКАЗЫВАНИЯ. ПИСАНЫ ВНУКОМ ЕГО МАТВЕЕМ.

Письмо учительницы, нашедшей рукопись.

Уважаемый товарищ писатель!

К вам обращается жительница села Онега Мария Петровна Андомина, я всю жизнь проработала в этом селе учительницей истории, замуж вышла за Мирона Трофимовича Андомина, и живём мы до сих пор в старом доме, построенном ещё предком нашим Ферапонтом Несторовичем. Об этом я нашла запись в архивных бумагах в Тобольске. Как ещё одно доказательство древности нашего дома – под полом нашли мы монету медную от 1789 года, видно, завалилась как-то, никто и не искал эту копейку. Прадед мужа моего Матвей Гордеич, как говорили, последние годы жил вне дома, в избушке на дворе, и объяснял это тем, что надо ему исполнить какую-то работу, для которой нужны тишина и сосредоточенность. Что это за работа, никто не знал, а умер прадед неожиданно, говорили, что внучка принесла ему кашу на ужин и молока, он покушал, и она посуду забрала, чтобы порядок был. А утром хватило – дедушка уж холодный. Схоронили его на нашем кладбище, тут все Андомины лежат, от дедушки Иоанна и бабушки Федоры до последних умерших, и Нестор Иоаннович, и Ферапонт Несторович, и Гордей Ферапонтович, и автор этой рукописи Матвей Гордеич, все рядом с женами своими. Про работу, которую исполнял Матвей Гордеич, время от времени вспоминали, но что это за дело – так и не знали до нынешнего лета. А нынешним летом муж мой Мирон Трофимович решил разобрать избушку на дворе, в которой дедушка Матвей жил и работал, потому что она совсем обветшала, проще новую срубить. Когда стали убирать тёсанные плахи с пола, рядом с печкой обнаружили, что плаха распилена и сделана крышка, а под той крышкой из железа скованная шкатулка, а в ней старая амбарная книга и большая стопа исписанных листов толстой старой бумаги. Писал Матвей Гордеич чернилами особыми, я такие записи видела в архивах в церковных книгах, потому весь текст читается хорошо и уверенно. Я знаю, что ваши предки тоже пришли из тех же мест, что и наши, даже село ваше Ольково у Матвея Гордеича упоминается. Высылаю вам копию, сделанную мною, потому что, поймите нас правильно, эта рукопись теперь наша семейная реликвия. Конечно, я переписала всё в соответствии с правилами современного русского языка, у автора весь текст писан подряд, без точек и запятых. Все слова диалектные тоже оставлены. Наименование писания составил сам Матвей Гордеич, потому я ничего менять не стала. Ещё дедушка Матвей всякий день, когда делал записи, помечал в начале письма, но я даты указывать не стала, указала только последнюю. Я не знаю, сочтёте ли вы нужным это публиковать, но для всех потомков вологодских переселенцев и для всех сибиряков это очень дорогие и милые сердцу сведения.

*Остаюсь ваша читательница М.П. Андомина
с. Онега, 24 апреля 2013 года*

Благословясь, принимаюсь за дело, вверенное мне дедом моим Ферапонтом Несторовичем, человеком твёрдой веры и большого ума, поручившим мне, недостойному, записать, насколько позволит грамота моя, его сказывания и свои присловия тоже.

Не стану темнить и откроюсь с первого разу: грамотой не обременён, потому как в приходской школе при церкви было три класса, ну, лучше три группы: младшая, средняя и старшая. Я в младшую отходил, счёт познал, письмо, чтение в голос, а в среднюю не пошёл, потому что дед Ферапонт Несторович, ему уж за сто лет было, он с родных вологодских земель малым отроком привезён, так вот он меня в завозню заманил и на полном серьёзе пригрозил:

– Не ходи в школу, Матвейка, там ребятишек станут кастрировать.

Я из-за угла подсматривал, когда приходил к нам коновал и отец с дядьями выводили на растяжных вожжах жеребца, валили на пласт соломы и скручивали верёвками. Коновал вынимал блестящий ножик, и я уже не глядел. Жеребца после того звали уже меринком, он долго тосковал в своём стойле, по неделе не ел и не пил, дед Ферапонт вздыхал и тоже с тоской сочувствовал:

– Лишили Карева единственной животной радости. Для какого рожна ему теперича жить? В кобыле не нуждаются, жеребятки не будут облизывать да мордой поправлять, ежели что не так. Мы теперь с ним в одной поре.

Я интересовался, как это, дед хмыкал в густую бороду и басил:

– Рано тебе знать, обожди, зачем не видишь, глазом не моргнешь – станешь, как Карько.

Помня, как жалобно кричал конь, я не хотел очутиться на его месте и от школы отказался. Отец не неволил, тем и кончилось.

Теперь я и сам к Ферапонтовым годам подхожу, пожил, повоевал, потерпел немало. И вот единожды лежу в своей избушке, сын мне изложил, чтобы никто не мешал, ночь светлая, у меня оконце под ситцевой занавеской, месяц пялится заглянуть. Лежу и думаю: «Вот придёт смерть, заберёт и меня, и память мою, и все, что я знаю со времён переселения, потому что дед Ферапонт из всех внуков и правнуков меня отличал, рассказывал и приговаривал:

– Ты, Матюша, запоминай мои речи, другой тебе такого не откроет. А как накатит на тебя все это прошлое, ты и запишешь для потомства. Тёзка твой Матвей с Господом бродил по Галилеям и Палестинам, а когда Христа распнули, Матвей написал все, что видел и слышал, за то Господь его призрел и отблагодарил. Книга эта, Библия зовётся, у меня на божничке лежит, как умру, ты её наследуй и изучи».

Как у десятилетнего парнишки завелась эта манера записывать в большой книжке с линейками, дед сказал, что это амбарная книга бывших торговых людей, записывать его сказывания – не дано мне знать, а вот писал, прятал от старших, потом и все другие события нашего села стал вносить кратко. Все ждал, когда же придёт время это все изложить в приличной манере и на достойных листах. Да, годов семьдесят прошло, сыны дома поставили рядом, дочери в достойные семьи вышли, внуки и правнуки – все прошло. Жёну свою Дарьюшку схоронил, сам сколотил домовину, сам место избрал на могилках в ногах у деда Ферапонта, тут же и себе обозначил, благо что слободного места дивно ещё. Когда сорок дней кончились и душа Дарьюшки моей обрела покой, взялся я за тетрадки свои, просмотрел все и решил, что достойно. Должны все мои последыши знать, как развивалось на сибирской земле семя Андомино. Писано мною подряд, как дедушка Ферапонт диктовал, новой раз так завлечёт писанье, что не вдруг угадаешь, что не мои это речи, а дедушки, только вранья все едино нету и быть не может, потому как правда.

Дед ещё малым был, а запомнил, что переход великий начался в царствование Екатерины Второй, сохранялась в семье какая-то бумага от имени Государыни, что отец его Нестор Иоаннович в Вологодской Вытегре у уездного начальника выправлял бумаги на переезд в Сибирь, и велел записать семейство как Андомины, в память о реке, на которой столько веков прожили. Река та Андома истекла из озера Крестенского, это я по буквицам записал, чтобы не соврать, и стремилась к Онежскому морю. Тут, на берегу, и было селенье наше Озерное Устье, стало быть, Андома втекала здесь в море. Рядом другие деревни, вот

перечислены: Климова, Ларьково, Ольково. Дед говорил, что жили рыбой, ходили в Онежское море на парусах, однако досыта не едали, хлеб на столе только по большим праздникам. И вот появился в тех местах зрелых лет человек, который по белому свету помыкал немало, и рассказал он мужикам про страну Сибирь, где сами хлеб сеют и кушают его, сколь душа примет. Что сенокосы богатимые, литовку не протащить, на тех травах скот нагуливает молоко и мясо, и опять все кушают без оглядки. Лапти показал тамошние, мякотькие, лёгкие, крепкие. Всю зиму мужики думали, а весной продали на ярманке в Вытегре все, что можно, и тронулись. Были, надо думать, среди наших толковые люди, ежели в такую даль собрались полтора десятка семей из тех деревень.

Три года шли, по дороге и добрые люди помогали, и злые насканивали, только переселенцы отчаянные были, за себя и своих детей души из разбойников вынимали. Без малого три тысячи вёрст от дома отошли, и подсказали опять же добрые люди, что ищет начальство охотников заселиться в местах отменных, но опасных, кыргызы налетали и даже казачьи заставы прогоняли.

Интересно обустривалась наша Сибирь-матушка, доложу я вам, столь забавно, что в двух верстах друг от дружки выстроились две деревни, только не просто версты их разделяли, а Гора, считают ученые люди, что в старопрежние времена вся низина была залита водой, а нынешняя Гора была берегом. Только где другой берег – никто не знал, однако догадывались, что где-то должен быть, коли наш есть. Гора не сказать, что высокая, но, к предмету, напротив могилки без торможения задних тележных колёс не спуститься, и много добрых коней, да и мужиков безалаберных тоже на том спуске пострадало. Пожадовал, воз нагрузил с избытком, или недоглядел, подгнул тормозной крюк или верёвка попрела, а воз накатывает, под колёсами аж земля дымится. И вдруг – нет тормоза, телега с возом на лошадь напират, той деваться некуда – в рысь, в галоп, но догонит телега, и покатились вместе в глубокий овраг, подминая молодые берёзки, только дикий крик убившейся лошади холодит душу обробевшего крестьянина.

На этих крутых склонах ребятишки любили зимой на санках кататься, потом лыжи наловчились ладить, как и вы теперь. Две берёзовых тесины с одного конца заострил, дождался субботы, когда баню топят, в котёл с кипящей водой сунул тесины острыми концами и жди, когда дерево разомлеет, а потом под сарай. Здесь уже все приготовлено. Острые концы между двух брёвен сарая просунул, а на другие подвесил гири пудовые. Поят так пару дней, и лыжи готовы, осталось только ремешки из толстой кожи приколотить, чтобы пимы в эту петлю входили. Были и пологие склоны, тут без приключений.

Сначала пришли вологодские наши поселенцы, облюбовали место под горой. Да что там говорить, чудное место, просто райское. В память о своей далёкой родине селение называли Онегой, правда, при первой же ревизии переписчик воспротивился было столь мудрёному названию, но подали ему немножко серебром, он и успокоился. А место ровное, как стол, с одного боку старица, с другого вторая, вода – пей – не напьёшься, вроде и солоновата, да нет, вдругорядь попробуешь – сластит. И для квасу, и для пива, и для солений всяких годна. Покося на лугах – литовка вязнет, земли залежалой – сколь можешь, паши.

Потом пришли хохлы малорассейские, те на Гору попёрлись, заманили их леса богатые. Оно и верно, лесов настоящих они и во сне не видели, а в то же время соображают: лес – он кормилец, он материалом обеспечит, грибом-ягодой. В ближних лесах три озера, войди в воду – караси в колени бьются. И покосы на лесных полянах не в пример луговым, травы во множестве незнакомые, но такое сено поспевает, хоть чай заваривай. Тоже жить можно.

Гора та изрезана логами да оврагами, один от другого тем отличаются, что в овраге все густо растёт, и травы, и кустарники, и берёза с осинкой. Тут сморода и вишня, малина и ежевика, боярка и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как вдовец, гол, с первого взгляда страшноват, дикостью от него несёт, суеверностью, нет в нем ничего, кроме камней и глины, и человек ни за что туда не пойдёт без особой нужды. А самый знатный лог в этих местах – Лебкасный, или Лебкастик. Из каких глубин и по какой причине выперло наружу такую уйму

лебкаса – никто не скажет. Вот рядом ещё ложок, невзрачный, почему бы там не быть этому добру, а нету.

А какие крепкие берёзы росли по берегу Лебкасного лога, даже старики не помнят их молодыми, приголубили под своей сенью всяческую траву, какая не даёт подползти к дереву паршивой тле, гибкой гусенице, да не всякая бабочка для продолжения рода сумеет полететь к шеренге берёз. А трава такая: крапива прежде всего, потом визиль-ползунец, потом резучка, дальше ковыль-чистоплюй, уж он-то не позволит... Разные были суждения по происхождению могучего колка прямых и ровных деревьев, от комля до вершинки полтора десятка саженей, и ни одной веточки, ни единого сучочка, только на макушке словно метёлочка, чубчик, дескать, простите, если что не так, вот за чуб можно подёргать.

Был такой разговор, что посадил эти берёзки каторжный народ, гнали пешим порядком большое число преступивших, и напади на конвой лихая хворь, так и валит с ног жаром и потом. Знающий человек среди колодников оказался, посоветовал весь провиант конвойный выкинуть, потому как подсунули подрядчики гнилье всякое, и в этих местах закупить новый корм, а пока подкрепление подвезут из ближней крепости, арестанты согласились в бега не ударяться, только дать им какую-нибудь богоугодную работу. Начальник конвойный убоялся подвоха и предложил зайти в этот лог, из него выход один и охранять проще. А в порядке благого дела велел обсадить лог юными деревцами. Чем ямки рыли – сие неведомо, и как поливали первосаженцы – тоже никто не знает.

Вторая догадка побогаче будет на выдумку. Вроде жили в ближайшей глуши раскольники, лог этот они облюбовали потому, что лебкас очень даже украшал их дома и придавал чистоту. А когда власти стали их и здесь шевелить, подались бедные дальше в глубь сибирскую, а много чего из ранее привезённого, чтобы дорогу облегчить, в логу зарыли. И под каждой берёзкой, ими посаженной, непременно какое-то богатство сохраняется, потому и пущена молва, что берёзы эти особые и рубить их нельзя ни при каких надобностях, за исключением того, что решит сход.

Никто из деревенских не обращал на эти берёзы никакого внимания, пока не начали разработки лебкаса на продажу в город. Дело это нехитрое, но и ума требует, потому что верхний слой засох и уже непригоден, надо его снимать и в сторону, вот тогда пойдёт мокрый лебкас. Мужик в яме роет и выдаёт наверх, а бабы «головы» лепят и на просушку выставляют. «Головы» в городе по хорошей цене шли, потому желающих в логу каждое лето добавлялось, рыть приходилось вглубь, там почти белый лебкас шёл, пока в один день да почти в одно время рухнули три шахты, и завалило мужиков. Пока сбежались, пока откопали, ребята уже никакие. Разом утянулись все из лога, бояться стали, и берёзы на его берегах зловещий смысл заимели. Вот вроде родные берёзки, а страх берет, и не всякий мужик в одиночку пойдёт в лог, но чтобы срубить дерево – да Боже тебя сохрани!

И только когда церкву строили, батюшка облюбовал сей лес для полов. Мужики морщатся, но супротив не говорят. Ну, батюшка и без того эту историю знал. Собрал людей, повёл, за версту ещё запели, а прямо в логу молебен отслужили, и по сигналу ружейного выстрела пономарь ударил в колокола. С тем и приступили, разделявали, шкурили и пополам кололи. Вот эти берёзы и лежат сейчас на полу в божьем храме. Пригодилось нечаянное подаренье незнакомых людей, мир их праху!

Весенние снеговые воды и от обильных дождей тоже вытекали мутноватым ручьём и заливали ближайший луг, отчего сделался почти непригодным для хозяйствования, зато птица всяческая польская плодилась тут во множестве. Весной ребятишки уходили сюда с раннего утра и собирали утиные яйца корзинами. Но было строгое правило: одно яйцо в гнезде не трогать руками и оставлять, утка к нему ещё сколь надо снесёт, так природой заведено, и все до ниточки исполнялось, потому как никто не мог ослушаться старших. Через время уточка уводила свой выводок на чистые воды ближайших стариц: на Марай, на Арканово или Темное.

Ребятишки приходили глядеть на это переселение, с их появлением утки издавали тревожный звук, и цыплята сбивались в кучки и прятались под

ближайшей кочкой. А утица начинала ходить кругами, то подлетит, то сядет и пойдёт хромой походкой, дескать, лови меня, я вот она, доступна. Гонять уток запрещалось, а трогать жёлтеньких пушистых утят тем паче, потому утки скоро успокаивались и условным криком выводили своё семейство.

Место это получило название Зыбуны, зыбкое было место, в иных точках вся поверхность ходила под ногами, раскачивалась, будто детская колыбель. Колыбель – это как-то по грамотному, у нас делали зыбки. Крепкую деревянную рамку обтягивали толстой холстиной, и чтоб чуть провисала. К потолочной матице на самоковочные гвозди приколачивали обработанную и испытанную берёзовую вершинку, на второй конец вешали зыбку. Зыбку из страха ещё одной верёвкой привязывали к большому гвоздю в матице, вдруг лопнет вершинка, дак чтобы ребёнок не убился. Потом, когда железо пошло, на крепких верёвках крепили с четырёх углов эту раму к металлической пружине, пружину к потолочной матице на надёжный крюк, но для страховки внутри пружины пропускали ещё одну верёвку к узлу тех четырёх. Это на случай, если пружина лопнет, тогда люлька на запасной удержится. В такой зыбке младенца нянька, мать либо бабушка укачивали, не бросая работы, от зыбки петельку делали к ноге и ногой покачивали, а руки свободны. Вот как было придумано хитро и просто, а от люльки той и болотистому месту, гнилому и опасному, дали название Зыбуны.

Ну, знамо дело, не каждый год смачный, новой раз такая сушь прижмёт, что воробью напиться негде, выйдешь на крылечко в тени кваску попить, он прямо на кромку ковшика садится, до того осторожность потеряет и человеку доверится. Тогда Зыбуны выручали всю деревню. Трава там напреет такая, что как взмах, так копна, а если хорошо помахать, к обеду на стог соберётся. Потом примутся эти травы в стога метать. Сначала в копны сложат, потом копны к одному месту стаскают волокушей, собранной из крепких веток тальника, и с первого навильника начинают сено утапывать, и так по кругу: положит хозяин пласт, хозяйка ногой заступит, тот вилы выдернет, а она ходит по кругу, это называлось уминать и вершить стог. Пройдёт полдня, а уже последний навильник забрасывает мужик на маковку стожка, следом подаёт сплетённые в вершинках попарно толстые вицы, баба разводит их на четыре стороны света, это чтобы ветром сено не раздувало. Муж кинет ей верёвку, сам на противоположную сторону уходит и кричит, чтоб спускалась. Бабы тоже всякие бывают, иная полстога может за собой утащить, потому аккуратность требуется: мужик верёвку натянул, а жена на животе тихонько сползает. Потом граблями очёсывают стожок, чтобы дождик скатывался, не сгноил сенишко.

А деревня наша чисто вологодские родные кружева повторила, строчкой домиков прошла вдоль узенькой старицы, которую называли Сухарюшкой, потому что первый дом поставил Никитка Сухарев, дома от речки отодвинулись, но лицом к ней, улочка получилась однобокая. Дальше стали нарезать улочки широкие, и уже строили с двух сторон, чтоб дом против дома, окно в окно, но пришлось огибать большую старицу, и такие повороты получались, то в одну сторону, то в другую метнутся. А поскольку такой рисунок заложили, то и другие улицы его срисовывали, и получилась вязь из улиц и переулков. Только в деревне не заблудишься, каждый друг друга знат-величат по отчеству, если годами достоин, а иногда и совсем молодого человека могут навеличивать за особые заслуги, к примеру, кузнец отменный или по скотине специалист. Были такие люди, грамоты не знали, а болезнь скотскую видели: когда брюхо специальной, из города привезённой иглой проткнёт, чтобы дурной воздух выпустить, вдругорядь заставит ковшик самогонки быку влить, чаще коровам помогал растелиться, по локоть руки в утробе, ножки телку непослушному развернёт, тот и выпал из мамки.

Дома ставили, как уже в Сибири заведено, нагляделись: стало быть, сруб рубится из свежих берёз, сразу вкрест, чтоб изба, горница, сенки тёплые и казёнка, кладовка по-другому. В избе и в горнице внутреннюю сторону бревна стёсывают аккуратно, и стена выходит ровная, любо посмотреть. А потом её шлифуют калёным кирпичом, а уж, когда живут, то к большим праздникам, к Паске и Покрову, стены моют и скоблят ножом до желтизны. Сруб ставят в три клетки, но

это не на месте, а в стороне, на полянке или за огородом, только потом переносят бревна, чтобы класть на мох. Мох загодя дерут на болотах, на паре лодок выплывают и специальными граблями собирают мох со дна, собирают в лодку, вывозят на берег и перегружают на телеги. Пока день работают, мох всю воду спустит, но дома все равно раскладывают ровным слоем в тени, чтобы не пересыхал, а потом соберут в общую кучу. Мох не экономят, пазы в брёвнах вырубают широкие и глубокие, мох на нижнее бревно укладывают ровненько и толстым слоем. Бабы следом подбивают свисающий мох и добавляют, где в паз палец лезет.

Когда лес привезут, ребяташки топориком берестечко разрубят и начинают кору драть, а потом коринку на излом, потянешь, и белая сладкая пенка сама в рот просится. А под коринкой на древе сок застывший, ножиком его скоблят и едят. Шибко сладко, только мужики не давали бревна оголять, просохшую берёзу топор не берет.

Когда сруб устоит окончательно, мох покажет прокладку между рядами толщиной в мизинец, и того довольно, чтобы ни ветер, ни мороз не пробил стену. Вот с крышей не все сразу выходило, как дед говорил. В Вологодских-то краях дома крыли тёсом, это когда берут бревно сухое и чистое, устраивают на подставах и вбивают железный клин, чтобы кромку отколоть. Потом и дальше, уже доска выходит, а тесина – потому что тёсаная. Местные натакали крыть пластом. Лопату насаживают на горбатый черенок, выбирают на выгоне ровное место, поросшее густой щетиной множества трав мелких, стало быть, крепко корневищами схвачен верхний слой. И вырубает по кругу пласт дернины и грунта на нем бугорком. Крышу обшивают густо подскалом, толстым тальником, и на него уже укладывают рядками земляные пласты, их могли и просто дёрном называть. Ровным верхним местом вниз, одна лепёха к другой опять же густо. Когда все закончат, крыша в мелких бугорках, красиво, а через неделю зазеленела крыша, и дом, как в сказке, попервости наши дивились, потом привыкли. Но все равно вернулись к тёсаным плахам, научились и берёзу разделявать, дома под тёсом, дождичком не пробьёт и баско смотреться.

Были любители мазать стены, ну, это только называют, что мазать, а на самом деле на все внутренние стены вкрест набивают таловые ровные прутики, а потом на ограде яму копают и глиной красной заполняют, туда же рубят прошлых урожаев солому, мягкую, подопревшую, водой заливают, и ходят бабы по кругу, месят глину, подоткнув юбки под опушки. Молодых девок туда не загонишь, стыдятся заголяться, ноги показывать, хотя и у подержанных баб ноги бывали смущающие. Потом глину носилками подают в дом, а там уж горстями кидают её в стену и аж крикают от усилия. Набросают так слой, какой надо, начнут растирать, ровнять, добавлять. Так по всему дому, особенно надо понадежней на стене, которая на улицу выходит, тут тепло надо ловить. Такие работы одному не под силу, всей родней собирались, друзья-товарищи помогали, потому называлась помочь. А когда дом мазать – собирали супрядки. Вот поди ж ты, супрядка прежде была, когда бабы и девки вместе собирались и пряли, а потом гляди, куда слово перескочило!

Сушили стены не просто так, все окна и двери закрывали, чтобы спокойно сохло, не рвало, да и соломка для того же. При доброй погоде может за неделю высохнуть, тогда опять глину разводят, только пожиже, называли затиранием. А уж потом дело до лебаса доходит или до белой глины, какая в логу под хохлятской деревней Паленкой. Паленка – от того, что сгорала на третьем году, сперва звали Ивановкой, а как погорели, переписали на Паленку, так землеустроитель тогдашний посоветовал. Бывал я и в белёных домах, бывал и с тёсаными стенами, и там и там все от хозяйки идёт, какая чистоту блюдёт, у той и славно, а если баба рохла, то ей хоть крась, хоть лебасом убеляй – запустит, загадит, до греха доведет. Был одно время порядок, когда общество имело право пройти и проверить, а каково же чисто или не особо ты живёшь, это ещё дед Ферапонт сказывал, потому что от нечистоплотности образовывались всяческие насекомые вредные, а уж от них укушенный болел и даже помирал. Потому приходили и такими разными словами стыдили и гадили, что хозяин тут же бабу свою на куртал водил, ну, бил, проще

сказать. И это блюлось долго, потом утратилось. А напрасно, я и теперича знаю, у какой хозяйки каково в кутнем углу. Вот ежели она принародно в подол юбки сморкаться, может порядок в доме быть? Никогда не будет, потому что и то, и другое друг от дружки зависят.

С первых времён старики стали все постройки во дворе высокими заплотами обносить. Это для чего? Чтобы злой человек либо разбойник не вдруг в ограду попал. Не то сказал, перепиши! В самые-то первые времена заборы ставили из толстых брёвен, а верхний конец чтобы заточен был до иголки, потом стали верхушки железом обшивать. Со временем поспокойней стало, и перешли к заплотам. Ну, самое простое дело: ставят столбы толстые, повдоль пазы широкие выбирают, в эти пазы и загоняют бревна, подгоняют, как будто стены рубят, так же паз выбирают, до тонкости, чтоб красиво и надёжно. Высота одна: в сажень, чтобы человек не допрыгнул.

Каждое лето дедушка подновлял прясла вокруг огорода, тын и плетень у избы. Загодя в лесу срубал молодые берёзки на колья, а у болотца насекал воз тальника. Колья готовил наперёд, заострял комельки и пропускал вдоль несколько залысин, чтобы дерево не прело под корой. Я нёс ведро с водой, дедушка беремя кольев. Острым концом в нужном месте он намечал лунку и долбил в неё колом, то и дело подливая воду, чтобы размягчить землю. Когда кол входил на довольную глубину, дед оставлял его в покое и рядом, в четверти от первого, устанавливал второй. В трёх местах потом, в локте от земли, посерединке и в четверти от верха колья крепко связывались вицами. Дед брал два-три нетолстых прута тальника, ловко заправлял их основания между кольями и проворачивал прутики вокруг себя, обвивал ими колья, восьмёрку делал. Потом на эти основания ложилась жердь, тоже пролышенная для просушки. Трёхрядное прясло спасало огород от коров и телят. Огороды под мелкую овощ, их называли огурешниками, как и сейчас, огораживались так же, только между жердями ставились прутья тальника, за нижнюю жердь заправляются, вокруг средней огибается и за верхнюю цепляются. Когда прутья чередуются, один снаружи, следующий изнутри, красивые получатся плетенья, тоже как наши кружева. А вот плетни были самой надёжной охраной для кур и свиней. Колья ставились, как и для прясла, только по одному, в полшаге друг от друга. Тальник, ещё волглый и податливый, заплетался между кольями один за другим, ветка за веткой, но всякая другая уже обнимает колышек с иной стороны. Для большей плотности плетня дед ударял между кольями обухом топора. Из плетня делали стайки для коровы, с обеих сторон для тепла обмазывали глиной с соломой, ну, это в тех хозяйствах, где жили поскромней. Наши дворы всегда были рублены.

А во дворе у путнего хозяина пригон для скота, конюшня, овчарня, свинарник в дальнем углу, оттого, что вонюч шибко. Птица так пристраивалась, чтобы теплом от крупного скота согреваться. У добрых соседей куры по всей зиме клались. Дед Ферапонт, бывало, вечером, когда куры на седало поднимутся, шёл их щупать и тут же снохе докладывал:

– Будет завтрашним утром, доченька, две дюжины яичек. Почитай, все куры с яичком, кроме рябой.

– Отчего так, дедушка?

– А Бог её знат, то ли петуха не любит, то ли волю взяла.

Ближе к весне куры отдыхали, яиц не несли, видно, силы копили. Когда матушка приносила в дом первое яичко, дед, помолясь, подзывал меня, ставил возле себя на колени и катал по моей голове яичко, приговаривая:

– Сколько у Матвейки на голове волосок, столько яичек снесите, курицы. Сколько у Матюши...

И так три раза.

Так заведено было у нас с дедушкой, что в воскресенье после обедни, откушав, чего матушка с сестрами наготовили, уходили мы в укромное место, и дедушка тихонько рассказывал свои истории, а я записывал, другой раз даже останавливая говоруна, мол, не успеваю. А тут поглядел на деда, а он из-за стола вышел, приобнял меня и говорит:

– Не станем сей день писать, потому как хочу рассказать тебе непотребное для воскресенья. Воскресенье, это ведь Паска, святой день, потому воздержусь. А

завтра вечерком сядем на печке, там и тепло, и светло, и у добрых людей в ногах не путаться.

На печке славно. На голбчике пимы летом сохраняются, а зимой сушатся, сразу за чувалом матушка складывает ухваты, сковородники, клюку, которой жар в печи загребает, широкую деревянную лопату, чтобы хлебы на под выкладывать. Калач, на поду испечённый, с молочком – первая еда для ребятни.

Дедушка Ферапонт поправляет кошму на печи, бросает к задней стенке свёрнутый старый полушубок, кряхтит и ложится на спину, я сажусь на голбчике и раскрываю тетрадь.

– Расскажу я тебе, Матюша, про нечистую силу. Про нечисть эту верней было бы крещёному человеку не поминать, да только за ради тебя, чтобы ты знал и умел от этой гадости оградиться. Вот мы с тобой про домового говорили, тоже не нашего мира, но для человека худого не сделает. Ну, прижмёт когда, подавит, да и не просто так, а чтобы намёк дать, к худу ли к добру готовить самого себя. А ведь есть ещё и черти с ведьмами, оборони Господь! Это же наказание! Они же только и ловят момент, когда человек ко греху готов. Вот, к предмету, Ванька Мазаный, он прошлой зимой в лавку купца Колокольникова залез и спёр кой-чего. На сходе, когда его судили, Ванька признался, что черт его попутал, с толку сбил и повёл к лавке чувал разбирать. Так грешный каялся, что народ проникся и просил купца не сдавать Ваньку в тюрьму. Только крест от нечистой силы ему на лбу нарисовали, чтобы не беспокоила, пока в себя придёт.

Вот пошёл ты в лес, знамо, что красота кругом, птички поют, цветочки расцветают, запахи в носу щекотят, только не думай, что ты один и чуть ли не хозяин в этом месте. В лесу свой хозяин есть, батюшка твой вроде брезгует молитвой перед дроворубом, разве про себя шепнёт чего божеского, а я непременно в сторонку отойду и попрошу Лешего, Лесовика, покровителя леса, чтобы он разрешил нам лес валить на благое дело и чтобы не пакостил. А то ведь знаешь как: собрались мужики валить лесину в одну сторону, а Леший толкнёт в иную. Ладно, если отскочить успеют, а то и горе бывает, захлестнёт мужика насмерть. Не знаю, какая от того корысть Лешему, однако случается.

Тако же и на воде. Вот плыву я, бывало, на долблётке, морды в камышах проверить, попало чего или на простой ворочаться, плыву, а он уже в камышах, ждёт. Тогда говорю: «Кланяюсь тебе, хозяин, и прошу соизволения рыбёшки, сколь разрешишь, взять». Он, конечно, промолчит, только ворохнётся, аж камыши ходуном заходят. Но волну на меня не гонит, стало быть, без возражений. А сказывали мужики, что новой раз так грудью пиханет воду, что лодку волной опрокинет. Тогда уж не суйся, уходи, да с берега задабривай добрым словом.

Зим прошло с тех пор пять десятков, приблудилась к нам в село женщина, жила подаяннем, только даже по большим праздникам на церковной паперти не стояла, а ведь там в такие дни хорошо подают молящим. И в храме её никто не видел. А потом страх по всей округе: катается по улице тележное колесо. Парни с девками компанией шлятся, на них наскочит, да ещё гоньбу устроит за кем-то. Ребятишки стали бояться из дому выходить, как стемнеет. Хмельной мужик от сватов возвращался, чуть не забило его колесо, он от боли и страха три дни молчал, только выл, а потом рассказал. И порешили мужики колесо энто поймать. И словили, оно вертится, но куда там супротив мужиков, они прежде в храм зашли, батюшка благословил. Была у них на тот случай верёвка конопляная, просунули между спиц и в ступицу пропустили, а потом толкнули: катись! Кое-как оно разбежалось и к избушке правит, где та бабёнка жила. Закатилось в ограду, потом в двери, трое мужиков следом. Колесо пало посреди избы, такой рык издался, что мужики со страху присели. А колесо забилося, все об пол, об пол, а потом и женщина на его месте образовалась, совсем голая, а верёвка между рёбер пропущена и в иных местах так же. Вскрикнула ещё раз, взвилась и в печь. Мужики на двор, а из чувала чёрный дым и ведьма на метле – во как!

– Не страшно рассказываю? – спросил дедушка.

– Страшно.

– Ты не бойся, ты же крещённый, над тобой ангел-хранитель, он защитит в случае чего. Да и слово помни: «Свят, Свят, Свят!» Нечисть шибко страшится этих

слов. Да ведь и есть люди с силой нечеловеческой, но от Бога. Был у нас человек, недавно помер, а жил долго и людей пользовал. Травы все знал, собирал и сушил, на самогонке настои делал, чай заваривал. Со всех сторон ехали и шли, кто лежачий – вставал и уходил с благодарностью, кого под руки привели – бросал костыльки и своими ногами. А теперича нету, остались старухи, которые ребятишкам брюшко правят да кровь могут унять. Мельчает народишко.

Запиши ещё о породе людей злых и неверных. Давно это было, ты родился или нет – не помню, и прибежал среди дня к нам деревенский староста, просит отца моего пустить на ночлег арестанта, коего везут в самый край земли. Арестант этот, говорит, не варнак, он князем был и офицером, да лишён всех чинов государем, так что бояться его не следует, а накормить и спать уложить прилично. Стража и кучера пусть в избушке на ограде ночуют. Лошадей в конюшню, и овса с сеном, потому как путь у них тяжкий, дорог нет, одни перемёты от падеры.

Отец ворота открыл, ведет гостя. На нем шуба дорогих мехов, каких и нет у нас, и шапка соболья, и одёжа господская с белой рубахой. Слуга при нем, толстенький, вертлявый, помог хозяину разоблачиться, он на иконостас глянул, трижды перекрестился, всем поклонился и сказал густым приятным голосом, что звать его следует Сергеем Петровичем и что опасаться не надо, не разбойник он.

Моя Степани душка к ужину наготовила и жаркое, благо поста не было, и каши, и пирог испекла из вяленых щук, солений поставила и водки казённой штоф. Гость опять перекрестился, сел за стол и хозяев пригласил. Налил я ему водки, слуге тоже, себе чуток плеснул. Гость взял кружку и речь сказал:

«Везут меня через всю Россию на вечное поселение в дальние края. Я офицер, именитого роду, с малых лет в армии, с Наполеоном схватился восемнадцати годков. Дошёл до самого Парижу, насмотрелся – иначе народ живёт, свободней. Там многие ещё о коммуне помнили, её идеалы на знамёнах и в умах. Пришли мы домой, а тут тирания и рабство народное. Государь наш Александр Первый перед войсками обещал дать свободы, ан не дал. Офицеры в смятении, возмущены, брожение началось, и оформились тайные общества, чтобы свергнуть Императора».

Тут я перекрестился:

«Как можно, сударь, на царя руку поднять? Ведь он Божий наместник на земле»!

Гость улыбнулся:

«Пусть так, церковь его венчала, только народишко-то свой и Господь завещал любить и блюсти».

– Ты пиши, Матюша, как я говорю, потому речи того господина были мудрёные, а я толкую, как понял. А гость, видно, скоро разобрался, что не шибко его понимаю, сказал, что напишет потом для меня и потомков бумагу, чтобы помнили. Вот, срисуй.

«Долго мы готовились и искали момента. Многие командиры вплоть до ротных были посвящены под присягой, среди солдат слухи пускали, смотрели, как они сами себя ведут. Пришли к убеждению, что надо действовать. А как? Тут разные были суждения, но Господь пособил, умер Государь Император, престол должен перейти к старшему из братьев Александра Константину Павловичу, на честь и порядочность которого мы полагались. Но начались игры, вроде престол принимает следующий брат Николай Павлович. Офицеры и высший свет его не любили. 14 декабря мы вывели свои войска на Сенатскую площадь, но безуспешно. Наша неорганизованность, измена, твёрдость нового императора, который дал приказ стрелять по войскам и народу из пушек картечью и ядрами – все привело к провалу. Нас арестовали, пятерых наших друзей повесили, многих угнали в Сибирь этапом в железках. За меня хлопотали люди высокие, однако через полгода вышло указание отправить в Сибирь под стражей на собственные средства».

Когда поужинали, я спросил:

«Сударь, а если бы восстание удалось? И кто царём стал?»

«Самодержавие упразднялось, крепостное право отменялось. Все люди равны перед законом. Чиновников избирает сам народ».

Я сказал, что в Сибири нет крепости, крестьяне вольные. Гость кивнул:

«А в России бедность и бескормица, крестьянин хуже скотины. У тебя вот мясо не выедается и хлеб белый. На Волге ночевать пришлось в деревне, в барский дом меня не пустили, государственный преступник, нашли крестьянский домик. Картошка и масло конопляное, пришлось из своих припасов доставать, а то совсем есть нечего».

Утром гость чаю попил и уехал, поблагодарив и наградив меня золотой монетой французской чеканки. Долго я думал, за правду пострадали эти люди или за гордыню свою. А потом такое стало в столицах, да и губернских городах, что страх обуял. В царей и градоначальников бомбы кидают, подбивают мужиков на восстания, к нам присылали и от Стеньки Разина, и от Пугача разбойников – против царя! Как можно? Не нами установлено, Господь так положил, что быть в России Государю Императору. Это как? Супротив Бога? Запиши, Матюша, эта путь к добру не приведёт, ты, поди, увидишь деяния этих безбожников ещё больше страшные по греху своему. Раз они против царя, стало быть, и Бога не признают, не боятся? О, это страшные люди! Спаси Христос от деяний их! Ну, довольно на сегодня.

На другой день после обеда дедушка позвал меня в избушку:

– Ещё поучу тебя разным приметам, верно, я и сам не шибко в них верю, но люди рассказывают, что сбываются, потому от греха подальше, лучше соблюдать. К предмету, несут покойника, прости господи! – не моги улицу перебежать, встань в сторонке, поклонись, трижды крест наложи, да три горсти земли вслед брось.

– Дедо, а если зима?

– Зима? Стало быть, снежком кинешь. И непременно прошепчи: «Господи, спаси его душу!»

– «Душу грешную», я слыхал.

– Болтаешься, неизвестно с кем, глупостей нахватался. Душа – она от Бога, ей и предназначение, как Спасителю нашему, тот за всех людей страдал, а душа за своего хозяина. Если человек грешил при жизни, вино употреблял зло, табачище курил нещадно, да матом крыл всех подряд, блудом пользовался и прочее – он-то умер, тело поганое зарыли, а душа летит к Богу и перед ним отвечает за хозяина своего. Потому душу свою береги пуще всего на свете.

Я тебя научил, запиши, чтобы деток своих потом не забыл правилам. Идёшь по улице, навстречу тебе пожилой человек, а тем паче старик – остановись, шапку сними, поклонись и скажи: «Здравствуйте, дедушка!» или «Здравствуйте, бабушка!» Если в дом вошёл, встань под порогом, шапку скинь, гляди на иконы в переднем углу и перекрестись, а уж потом скажи: «Здравствуйте всем! Мир вашему дому!»

Ежели баба с пустыми вёдрами на коромысле навстречу – избеги на всякий случай, либо в переулок сверни, либо вернись, словно позабыл чего. Не знаю, отчего, но сам избегаю.

На огонь не плюй, ни в кострище, ни в печи. Запомни, как у тебя губенка вспухла, когда ты на железную печку в избушке плюнул. Рыбу осеннюю мы тогда подсушивали, вот и затопили железку, ты сначала недопитую воду из ковшика сплеснул – зашипела, белой змейкой взвился пар. А потом плюнул раз да другой, это я недосмотрел. Вот летучий огонь тебе на губу и прыгнул, дескать, не делай так больше. Понял?

– Понял, дедушка.

Когда я маленьким был, батюшка наш Нестор Иоаннович (тут дедушка перекрестился, и я тоже) на лето ставил под сараем за ветром гнутую из железного листа печку. Семья большая, трижды в день всех надо накормить, в дому печь топить не будешь, жарко, потому варили и жарили на железке. И приспособились мы с братьями картошку испекать. Нарежем нетолстыми ломтиками, подсолим, у холодной ещё печи бок вымоем, а потом, когда он накалится, ломтики прилепил и ждешь. Вот он раздумянился, пахло вкусно, ножичком ломтик сколупнул и на блюдо. Обьеденье! Ты спроси батюшку своего, печка на чердаке лежит, ежели позволит, достанем да и нажарим ломтиков. И я детство вспомню.

– Как это, дедушка, вспомнишь?

– Милый ты мой, новой раз звук какой услышишь или запах – сердце замирает, было такое в детстве. Видно, кроме памяти ещё что-то есть в человеке, чтобы душу волновать. Да, про ножик. Никогда на столе ножик не оставляй, дедушка–суседушка не любит.

– Отчего так?

– Не ведаю, Матюша, только меня учили, а я тебе передаю. Суседушку уважать надо, иначе беда.

Теперь про баню. Семьи большие, работы много, потому баня непременно должна быть. Мы народ северный, на воде произрастали, к чистоте привычны. Бани топились по-чёрному, весь дым через дверь, в каменке большой котёл замурован, в нем щёлок заваривали. Щёлок получится, если хорошее лукошко просеянной берёзовой золы высыпать в кипящий котёл. Когда вода отстоится, зола на дне будет. Щёлок мягкость воде придаёт, и мыла надо немного, и любые волосы промоет. Бабы волос не стригли, и у матушки моей Василисы Мироновны две большущие косы были, она их узлом укладывала и под платком прятала. А когда в баню собиралась, в дальней комнате разбирала косы, ей сестрица моя старшая Апполинария пособляла, а уж как мыли те волосы – не знаю, только сестрица говаривала:

– Оборони Господь от таких волос, мама на полоч ложится, а я их стираю да полощу.

Потом они опять уединялись, и сперва крупным, потом помельче гребнями расчёсывали, ждали, пока просохнут, а уж потом заплетали. Матушка тех волос лишилась к старости, голова стала болеть, и доктор городской посоветовал волосы обрезать. Матушка долго не соглашалась, но потом папаша наш Гордей Ферапонтович свозил её в церковь, батюшка благословил, и под плач всего дома папаша крупными овечьими ножницами обрезал обе косы. Матушка прибрала их в комод, где хранились самые сердешные её памятки: мой усохший пупок в тряпочке, который она показывала мне в день ангела, тут же прядочки первородных волос всех детей, тоже в тряпочках и подписанные матушкиной рукой.

Про баню следно ещё сказать. Половина пожаров в деревне начиналась с бани, потому что в морозы калили её нещадно, чуть проморгал баннотоп – занялись стены, а там и все подряд. После того стали бани ладить подале от жилья и построек, уж если и полыхнет, то одна. Знамо, не с руки, и дрова, и воду надо носить по узкой дорожке, пробитой в высоком снегу, да и женскому сословью особая забота, чтобы не застудиться. В предбанке все на себя не наденешь, потому завернутся в полушубок и бегом к дому, аж пимы слетают.

Когда баня была готова, женщины мыли и скоблили стены, чтобы сажей не измазаться, а потом мыли полоч и пол, кидали на каменку добрый ковш воды и наглухо запирали двери. В нашей семье всегда пол банный закидывали сухой травой, дедушка припасал. Когда я спросил, зачем трава, он усмехнулся:

– Баня заведение мокрое, тут всякая тварь может расплодиться и даже дурность воздуху создать. А трава наша, родная, я её каждое летичко собираю, видел, сколько у меня под крышей вязанок всякого разнотравья, не одну овечку можно зиму прокормить. А кинешь травку на мокрый да горячий пол – сразу в бане июль месяц. Нешто не замечал?

Дома приглашения уже ждали, и мужская половина отправлялась париться. Каждый брал заранее приготовленный веник, в теплом предбаннике сымали старые полушубки и рубахи с кальсонами, перекрестившись, отворяли дверь и начинали диканиться. Я помню, как парил деда Ферапонта, он меня стал с собой брать, когда я в года вошёл. Непременно пара веников, одного ему мало, оба замочены в кадке с холодной водой, кинет на каменку полковника и на полоч, развалится на спине, млеет. Сразу стал мне советы делать:

– С молодости учись двумя вениками париться, бери оберучь и обихаживай себя в вольном жару, не торопись, пар штука полезная и опасная, если в избытке. Зачинай завсегда с ног, ложись на спину и задирай ноги к самому потолку, ноги надо хорошо парить. Ты теперь уж большенькой, приучай к жару и плоть свою, опять же аккуратно, а то бывали случаи, что мужики кутаки себе прижигали напрочь, вплоть до бабьего позору. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь на каменку

ковшичек и посиди в вольном жару, как пот хорошо прошибет, ну, потекут струйки промеж лопаток, тогда ещё ковшичек. Только благословись, так и скажи: «Господи, благослови!» Ну, да ты знаешь. Теперича можно легонько попарить сначала ноги, потом повыше, тут самая нежность и аккурат, когда все тело пройдёшь, упеть ковшичек, тут уж в полную силу. Три раза должен выходить в предбанок и отдыхать, а то кровь возмутится. Тоже, слышал, случалось такое, что кровь разгонит по организму мужик, емя деваться некуда, туда-сюда – кругом заперто, а он жарит. Ну, кровь и находят слабинку, кому в голову, кому в брюхо. Бывало. Ладно об этом.

Как только дедушка дожждётся первого пота, командует:

– Матюша, плесни на каменку немного и веники распарь. Да не суши на камнях, а в вольном жару пусть распушатся. Так, теперика давай начинай с ног, чегой-то по ночам ломить стало. Вот так, славно, ишо, ишо!

Бывало, у меня уже голову обносит, а дед кричит:

– Кто в бане крещёный, кинь на каменку, самой малости не хватат!

Конечно, я плескал ледяную воду, она тут же белым змеем взмывала к потолку, а я хлестал обоими вениками по широкой, но уже усохшей спине деда. Потом он вставал, выливал на себя ушат холодной воды, я его вперёд готовил, и ложился на широкую лавку. Я успевал только голову вымыть, а дед уже лез на полку, окинув его ковшом воды из кадки, и командовал, когда и сколько надо плеснуть. Почти до последних дней он парился по три раза, не признавал мытья, кроме головы, обкатывался тремя шайками и выползал в предбанник. Там, если летом, пил чай на травах, лежал на свежих тряпицах тонкого холста, а зимой надевал кальсоны, пимные опорки и голяком шёл домой. Самовар уже был на столе, постаревшую бабушку Степаниду сменила матушка Василиса Мироновна, она наливала деду чай, он отдувался и пил, потя и меняя рукотерты на сухие.

Вот куда проще процедура, чем чаепитие, а и то в каждой семье свой порядок. Самовар обычно разжигают в холодных сенках или за ветром под сараем, если летом. Как закипит, заглушку на трубу накинута и на стол. А тут уж все готово. Чайничек-заварник кипятком ополоснут и засыплют в него где индийского сбора чай, купленный на Никольской ярманке, где фруктовый из деревенской лавки, а где просто шиповник или душицу, или сбор ароматных трав и цветов. Чайник непременно ставят на место заглушки на верх горячей трубы, чтоб напирал настой. В это время хозяин берет в левую руку кусок сахарной головы и тыльной стороной большого ножа ударяет по нему, колет на кусочки. Вся семья смотрит, какая светящаяся полоска между ножом и сахаром вспыхнет, а откуда она берётся, так никому и неведомо. Чай пьют с сахаром, то есть кусочек сахара разводят в чашке. Там, где достаток меньше либо хозяин скуповат, пьют вприкуску, каждый от своей пайки откусывают чуток и чаем припивают. Сказывали, что пивали и вприглядку: сахар лежит посреди стола, отпил чаю – посмотрел на сахар и опять вперёд. Или кусочек привязывают на ниточке над столом, один лизнул, ниточка качнулась к другому и так по кругу. Сумлеваюсь, что последние примеры из жизни, скорее, для смеха придуманы, а вот была одна старуха, которая сахаром только обводочек чашки протирала, а потом по кругу чай пила. Хотя и эта старуха, верней всего, выдумана нашими острыми на язык мужиками.

К Паске, большому Христовому празднику, первому после Великого поста, в нашем селе ставили качели, мы их называли качули. Из лесу привозили длинные и толстые жерди, вершины трёх связывали и ставили пирамидой. Вверху, на стыке жердей, укрепляли матку, толстое крепкое бревно. К нему на петлях, выкованных в кузне, крепили две хорошо обработанных жёрдочки с надёжной ступенькой. Жёрдочки назывались видилины. На качули часто становились по двое, чтобы быстрее разгоняться. Наиболее отчаянные рисковали по одному, раскачиваясь так, что совершали полный оборот. Таких смельчаков было немного, и с ними никто не вставал в пару. Когда кучуля набирает размах, её невозможно остановить, вот этим и пользовались те, кто внизу. Брали жидкий прутик, вицу, и стегали качающихся, вопрошая: «Говори, кто невеста?», «Кто жених?» После двух-трёх ударов шли признания, но не все принимались, если явная ложь – пороли сильнее. Наконец, истязаемый признавался на радость толпе и себе на горе. А ещё, внучок, в Паску

робить никак нельзя. В этот день даже попы не служат, собаки не лают, петух, прости Господи, курочку стороной обходит.

У меня отдельно списаны дедушкины рассказы про то, как женились и свадьбы справляли, как крестили маленьких и как хоронили покойных. Я хотел было пропустить эти листочки, но потом одумался: век не тот, народ сшевелился, отшатнулся мужик от семьи, уже баб стало можно бросать и на другой жениться, и попы венчание делать учинились по другому разу. А кто позволение дал? Господь у себя записал или иным образом учёл, что Ванька венчан на Нюрке, а оне тут, на грешной земле, сами разбежались, не сошлись чем-то, и опять же в храм за господним благословением. И такие случаи были, что поп впадал в грех тоже и вторично венчал. Конечно, и в прежние времена случалось, что мужик, к предмету, вдовел, а на полатах пятеро – как без хозяйки?

Тогда и поп-батюшка давал благословение, и даже венчал со второй женой. Был даже такой случай, когда хозяйка слегла в тяжёлом недуге, и жизни нет, и смерть не идёт. А семья была примерная, работающая и молящая, и деток емя Господь посылал каждый год, и вот образовалось так, что в доме шесть штук ребятишек, мужик весь в работе, хоть и нанимал людей в поле. Баба совсем не встаёт, ребятишки не прибраны, родня прибегают, то-другое поделают, а дале чего? И вот единожды призывает жена мужа своего и говорит тихим голосом:

– Милый мой Федотушка, не дал нам Бог единой жизни и смерти мне теперь не даёт. Знать, грех какой на мне есть, скажи, коли заметил.

Он горячей слезой исходит, целует её, хоть и красоты прежней нет и запах дух от страшной болезни:

– Аксиныюшка, свет мой, да наравне с ангелами вижу тебя и жалею.

И тогда она ему говорит:

– Исполнишь все, как я скажу, если перед Отцом Небесным клятву свою помнишь. Марья Гаврилиха вдовая и бездетная, а ты примечал её в молодости. Гляди мне в глаза. Марью в дом приведёшь как жену, священника ко мне пришли, я все обскажу. А меня перенеси в избушку. И не перечь мне, Федотушка, только пусть она ребятишек голубит, ей зачтётся.

Плачет мужик:

– Как же я при живой жене другую в дом приведу, Аксиныюшка?

– Ради маленьких, Федотушка, а помру, обвенчайся с Марией. Ей сам все скажешь, только ко мне оба не ходите и детушек не пущай, за мной кума Алена управится.

Таковое было только единожды, Мария, к чести ей сказано, благословилась у батюшки, исповедала все грехи свои и пришла в дом. Аксиныя только к весне убралась, Мария с Федотом ещё не троих ли прижили, и всех подняли.

Так заведено было отцами нашими, так и в святых книгах учтено: в семью только дважды Богом увиденные обращались, все остальное – блуд, не меньше того. А почему дважды? Первый раз человека крестят в святом храме, проносят пред алтарём, чтоб Господь принял чадо своё, а второй уже венчанье. Дед мне об этом диктовал как раз в то время, когда я женихаться начал. Знамо дело, летом не шибко загуляшь, потому как работа, сколь солнышко отдыхало, столь и люди.

С Масленки уже в лес, надо дрова готовить, а дров, такой заведён порядок, на две зимы чтоб запас был. Дрова рубили, отчего назывался дроворуб, все топором, и с корня свалить, и на поленья разделать. Пилы тогда не знали. Правило такое: каждый запрягат лошадку в дровни, это сани такие, и должен воз дров накласть. Когда пила пришла, игрушки, а не дроворуб. Когда дрова вывезли, раскололи и в поленницы сложили, уже и на поле надо ехать, зябь бороться. Поля у каждой семьи все в кучке были, потому избу ставили и даже баню. Места эти так и назывались по родам: Поляковы избушки, Плехановские, наши Андоминские тоже. Батюшка мой Гордей Ферапонтович уже все семена привёз, все у него размечено: где пшеничку будет сеять, где овёс и ячмень, на масло сеяли лен, рыжик да подсолнухи, а с осени рожь между берёзовых колков, когда хорошо перезимует, сразу после сенокоса жать начинали и молотить. Рожь всегда в цене была, что в хозяйстве: путний хлеб для работников только ржаной стряпали, в нем силы

премного; пиво делали изо ржи, такое хмельное да заманчивое, что никакой водки из купеческих бочек не надо. И на ярманках рожь спрашивали, хорошие деньги давали. Дед Ферапонт все приговаривал:

– Ты, Матюша, к народу прислушивайся, в ём вся мудрость. Ученых людей много, это хорошо, а народа мудрее никто не может быть. Учёный человек долго молчит, мыслит, потом хватат перо и сочинительством свои думы вносит в письмо. Книги потом делают печатные. Я, конечно, не читал, но чует моё сердце: все, что учёный размазал по гумаге, народ уже давно высказал в трёх словах или чуть боле. И все! Вот про рожь судим, а народ давно все объяснил и сказал на все времена: «Помирать собрался, а рожь сей». Вот как ты это толкуешь? А так, что рожь – главный продукт. Понял?

А как славно было сеять! Я с малых годков, как себя помню, все в поле отирался, пока дед Ферапонт не поймал за рубаху:

– Хватит, милай, сорок зорить, будем к науке приваживаться.

Сперва за бороной ходил, усвоил, потом к плужку приставили, тяжело, зато уважение другое, ты уж пахарь, а не шалопай какой-то. А в десять лет дедушка Ферапонт повесил мне на шею лукошко с овсом, лукошко маленькое, да и я не велик, дед рядом встал и велел делать, как он: ухватил горсть овса и широко рукой повёл от себя, разжимая кулак. Овёс ровненько лёг прямо перед ним. Он вторую горсть. Я следом, только не получается полоска, кучкой выпадают семена, к тому же пашня сырая, ножонки вязнут.

– Опять тебе от народа мудрость скажу: «Сей овёс в грязь – будешь князь». Ну, в князья мы не собирались, а вот примета верная, в сырой земле овёс быстро всходит и растёт веселей.

Натакался и сеять, от деда не отставал, потом от отца. Матушка наша и старшие сестры тоже хорошо сеяли. Отсеялись – тут же начинали сено готовить, потому что лесная трава не то, что ни в какое сравнение с луговым сеном не идёт, а сено из лесу – это и лекарство для скотины, в нем весь сбор, какой требуется. Потому такое сенцо только малым телятам, а большим только если занеможет. Дед Ферапонт травы знал, у него веники всяких сортов были навязаны под сараем. Конь ослабел или бык, корова в молоке отказала раньше срока, овечки опаршивели и ревут нещадно, по свинье супоросной синие пятна выступили – дедушка достанет свои веники и начнёт отбирать по одной да по две веточки из каждого, заварит кипятком, а иной раз тёплой водой зальёт, постоит это зелье в тепле, и он сам начнёт поить больного. Батюшка мой как-то не усвоил эту науку, а я кой-чего уловил, да вот из записей этих нахожу нужное.

Я ведь про своё любопытство к девчонкам хотел поведать, да все не к месту. Летом такая работа, что про гулянку лучше не вспоминать. Иной раз и сорвался бы сбегать за околицу, где-то гармошка, то балалайка, но батюшка остановит:

– Завтра с рассветом на неделю едем в Дикушу, ложись спать.

Дикуша – это рай земной, потому что не просто заливной луг, где травы в пояс, а ещё и несколько стариц, по берегам ежевики страсть как много, и рыба разная: карась, щука, налим. Дед Ферапонт улыбался извинительно: в Онежском море и в реках на Вытегре предки такую рыбу брали, что в сибирских краях и названия не знают. Но ничего, и к карасю привыкли, он парень толковый, хоть жарить, хоть в ухе, хоть вяленый или сушёный – все карась. Три рощи берёзовых на взгорках, а в них грузди такими деревнями растут, что на одном месте можно корзину наломать, а ещё в них несколько вишнёвых опушек. Народ сговаривается, что, к примеру, до субботы никто ни ягодки не сорвёт, пусть зреет, а в субботу утром все за вишней. Ягода крупная, сочная, новой раз из корзинки алая кровь капает.

Коль о ягоде заговорил, надо сказать и про клубнику, её наши зовут голубянкой. Ягоды этой брали помного, сушили где только можно, в основном на крышах сараев, на широких листьях лопухов и подсолнухов. Сухую ягоду вешали в холщовых мешочках в сухом месте, а зимой запаривали и стряпали пирожки, шанежки, с чаем потребляли. И в такие дни в доме пахло, как на угожьях ягодных. Дальше смородина, её в Мокром колке было так много, что выбирать не успевали.

Ещё в августе брали костянку, а ранней осенью ездили в дальние рямы за клюквой и брусникой.

И чуток про грибы. Вот читаю дедовскую диктовку: в родных местах самый важный гриб был белый, а здесь стал груздь, его ещё настоящим зовут. Есть и сухой гриб. Сибиряки вымачивают их в кадках, перебивают и солят. В наших местах белый сушили, а сухой – его хоть куда. Научились и наши солить, а сибиряков привадили сушить опёнки, зимой в суп горсточку запустят – дух такой пойдёт, словно ты на грибной полянке.

Из всех крестьянских работ самая сурьезная – это жатва. Дед Ферапонт сказывал, что хватили горя переселенцы, когда приступили к первой жатве. Серпа в руках не держали, снопа не видели ни разу, цепом на гумне себе спины и головы поразбивали.

– Видишь, какое дело, Матюша, так все предусмотрено создателем нашим, что на каждую работу должна быть особая снасть. Как народ заключил: «Без снасти и вошь не убьёшь». А кроме снасти надо погоду хорошую. Когда осень сухая, с поля не уходит народ, тут же где прикорнул, и опять за серп или литовку с гребелкой. А бабы следом собирают колосья в горсти, потом в снопы укладывают, а снопы те в кучи, называются суслоны. Когда все приберут, тогда снопы из суслонов грузят на телеги и везут на гумно.

Гумна устраивали толково, в стороне от деревни и близко к воде, чтобы, в случае чего, можно было спасти хоть самую малость. На гумнах снопы разбирали, раскладывали на току и цепами молотили. Когда сгребали солому, на току оставалось зерно вперемешку с плевелами да с сорным семенем. Тогда выбирали время ветреное и веяли, деревянными лопатами, дед Ферапонт говорил, что они похожи на весла, подбрасывали зерно, а ветер относил в сторону весь мусор. Тогда только батюшка Гордей Ферапонтович определял, сколько зерна на прокорм, сколько скоту, сколько на семена, сколько можно продать. Продать – непременно, на ярманке за зерно давали железо на ободья к колёсам, гвозди, топоры, пилы и другой струмент. Ещё везли мануфактуру на рубахи, хотя всякую тряпицу ткали дома, и на штаны, и на рубахи.

Вот тут и отпускали меня на вечерки. На настоящие вечерки, с поцелуями, не вдруг попадёшь, маленьких не брали, за совращение могли хозяина вечерки и на площади выпороть. Я уже подходил и по летам, и по росту. На первый раз я только смотрел, как молодёжь развлекалась. Собрались в большом доме, хозяин отвёл горницу, я сосчитал – тринадцать человек. Кто-то в карты счинился играть, на деньги, но по маленькой. Другие затеяли фантики, я сразу разобрался, что к чему. Когда стали выдавать задания, Феклуше рябенькой глаза завязали, она и задала:

– Этому фантику Матюшу Вологодского поцеловать, да не как попало, а в губы взасос, а кроме того, с Матюшкой вместе и домой пойти после вечерки.

Я ахнул: фантик тот, утирку девичью, вышитую крестиком, выхватила Дарья Заварухина, красивая девка, я все время её примечал и на службе в церкви, и просто на улице. Глянулась она мне уже тогда, да и я, видно, тоже был на примете, оттого девка смутилась, но тут же поняла, что может выдать себя, и подошла ко мне, зажала мою голову в руках и впиалась в губы. Отпустила, засмеялась и сказала:

– Не убегай после вечерки, вместе пойдём, а то мне веры не будет в игре.

Когда вышли на улицу, девка моя оробела, куда и смелость девалась.

– Ты не подумай чего лишнего, игра такая.

Я уж тогда слово по карманам не искал, смело ответил:

– В другой раз приду, пусть тебе опять такое же закажут.

Дарья остановилась:

– Матюша, я согласна, пусть закажут, я тебя ещё крепче поцелую.

Вот так решилась моя судьба. Две зимы мы ещё по вечерам бегали, целовались, конечно, пытался Дарье под полушубок залезть, не оттолкнула, а только сказала:

– Я, Матюша, замуж за тебя хочу, женой тебе стать и чтобы на свадьбе не опозориться.

Тут самое время записать в подробностях, как рассказывал дед Ферапонт про женитьбы, сватовство и свадьбы. Он захватил ещё те времена, когда два друга-

товарища договаривались, что буде у них парень и девка – непременно поженят, чтобы укрепить дружбу. И женили. Молодые друг дружку в глаза не видали, а им свадьба. Или, напротив, с малых лет знали, что жених и невеста, так привыкали, что свадьба и не в интерес совсем. Конечно, случались и бунты, жених и невеста такое устраивали родичам, что те от свадьбы отказывались и дружили просто так.

Потом полубовно свадьбы игрались или по расчёту, и такое случалось. Как бы ни было решено, а сватов засылали, и такие спектакли разыгрывали, что теперь и не помнит никто. Свататься приглашали людей толковых, авторитетных и говорливых. Все для вида, но соблюдалось. И жениха нахваливают, и невесту, и родителям множественные поклоны. Кончалось все застольем и обсуждением будущей свадьбы. Должен тихонько добавить, что до свадьбы невеста себя блюла, какой бы шустрый жених ни был. По старым обычаям молодых уводили спать в отдельный дом, а утром сваты гордо на видном месте примаранное девичьей кровью белое полотно вывешивали, коим постель застилали.

– Оно бы, конечно, рано с тобой об этих делах речи говорить, только должен ты с юной поры, до того ещё, как мужиком себя зачуеть, должен ты знать, что несёшь в себе все, чего род наш накопил за века, и все это жене твоей передастся. Если, конечно, на девице женишься, на что полагаюсь, чтобы и она тоже все своё родовое тебе принесла, вот тогда и детки будут у вас крепкие и здоровые, и род наш без мусора станет продолжаться. А ежели жена уже знала мужика, то беда, горе семье, испохабит тот случай весь путный род и семью, измарат. Потому и гордились невестой–девицей, и почитали её. А порченную прямо со свадьбы могли прогнать, во как!

Дед Ферапонт, когда про это рассказывал, хихикал, что находились толковые девки, молодость прогуляют, а после свадьбы, пока жених колупатся, над постелью приготовленному воробушке головку отвернут, вот и святость, и честность. Но это опять же в расчёте на бестолкового жениха.

Венчание всегда было великим праздником, батюшка сияет, храм цветами украшен, певчие на хорах голоса пробуют, нищие в ожидании. Привезут молодых, в храм проводят, и пошла служба, пока дойдёт до обмена кольцами и восклицания уставшего священника, что объявляет их мужем и женой. Из церкви выходят – цветы под ноги, чистой пшеничкой окропят молодых, а уж потом гулянка. Тут тоже премного бывает интересного. Если семьи состоятельные, то непременно учинят соревнование, кто больше денег на блин положит или в сор кинет, когда молодуху заставят избу мести, зачнут все выкупать, не свадьба, а ярманка. Мне это не любо. Проще надо и открыто, чтоб весело и песенно, да с плясом впрысид. Я, бывало, плясун был, Матюша, никто меня не мог переплясать, балалаешники друг дружку выручают, а я один по кругу. Да... А таперика пойду за пригон, присяду, а встать не могу, того и гляди – примерзнешь. Хоть на подмогу кого зови...

Вот записано про рождение ребёнка, дед Ферапонт говорил, что Господь, когда увидел грехопадение первых людей Адама и Евы, в наказание положил жёнам всем рожать детей в муках.

– Ну, Ева, – улыбался дед, – ещё та была пройда. Ведь сказано было русским языком: болтайтесь в саду, погода тёплая, не Сибирь, и птички на руки садятся, и зверь не тронет. Нет, ей неймётся вкусить плод дерева запретный. И не только самой, но и Адамушку соблазнить, искусить. А почему? Да натура бабья такая, скажи бы ей Господь, что к вечеру надо сожрать все яблоки с дерева, она бы по противности своей натуры к ним не прикоснулась. И теперь подумай, Матюша, каково бы мы жили, человеки, в раю, где все есть и робить не надо. Оно, на моё соображение, скучновато, но тогда я по-другому бы соображал, люди не знали денег, войн не было бы, зависти, будь она промчатна.

Ну, это я отвлёкся. Про рождение ребёнка. К предмету, моя Степанидушка выносила семерых, и всех родила так тихо, что и не знал никто. Родит, нижнюю юбку скинет, завернёт дитя и несёт:

– Вот, Ферапонтушка, Бог дал девочку. Или парня.

Отчего такое происходило? Да от того, что греха на Степушке не было никакого, она праведница была, каких нет, слова дурного от неё никто не слышал. А ведь бывали случаи, что мается баба родами, да так и погинет. Оно,

конечно, не все грешницы, были и другие причины, но Ева все-таки нехорошо сделала, что яблоко укусила и парня заставила. Я вот новой раз думаю, не оттуль ли блуд-то пошёл? Ведь они не муж и жена, а как бы два предмета, ещё неизвестно, чего Господь с ними дальше делать собирался, а пали в объятия и родили, не помню, кого. Э-э-э, Матюша, выходит, все мы от корня будто выблядки, не в браке рождены. Про это надо хорошенько подумать, после вернусь, доскажу.

Когда мы тут, в Сибири, обосновались, знамо дело, ребяташки шастали по лесам, потому что дикого страшного зверя не было, скот пасся без охраны, и ни единой утраты. Сказывали казаки, что иногда рысь проходит по вершинам деревьев, но чтобы на человека пала – такого не было. Вот мы и по цельному дню носились по лесу. С весны пойдёт саранка, научили нас, как её различать. Сверху только былинки с хохолком, а копнёшь – луковица, да такая сладкая, что во рту вяжет. Ну ты едал, знашь. Потом медунки. Вот ты погляди, совсем крохотный цветок, а столько радости в себе накопил. Понятно, для птичек маленьких, для бабочек всяких. В природе ведь друг на дружку работают, один отдаст от себя все и погинет, а другой живёт. Медунки собирали букетиком и сосали – до сих пор помню. А к тому припевка была: «Пошли девки по медунки, потеряли свои..., ну, ты сдогадался. А дальше: «Пошёл парень в лесок, нашёл полный туесок». Тьфу, грех творю! Потом сок берёзовый. Надо топориком насечки сделать, а потом палочку вставить, чтобы по ней сок в ведёрко стекал. Дед Иоанн, не знаю его отчества, да тогда их и не было, потом придумали: какая берёза явно на дрова пойдёт, он в ней напарией до середины дырку сверлил, а в ту дырку забивал пробку, но в пробке скол делал, вот через тот скол и бежала березовка прямо ручьём. Когда обогреть начнёт, в лесу попрёт пучка, тоже едал, знашь. Вот погляди, дудка дудкой, а разобрался человек, что в нутрах съедобно.

А лук польской? Луга наши заливные, когда большая вода пройдёт, успокоится и спадать начнёт, вот тогда приволье. Вы и теперь не вылазьте с Колокольчиков. Какое славное имечко придумал человек для простого места, для луга. Колокольчики! И мы тоже рвали тот лук под самый корень, считалось, что так он лучше отрастёт на будущий год. Набирали столько, что несли, как дрова, на руке. Шаньги, пирожки, просто толкушкой намять да солью присыпать – все на пользу.

Дед Иоанн, рассказывают, нашёл в лесу пчёл и дупло с мёдом тоже, неделю ждал, когда рой пойдёт, собрал, и домой. А дома уже долблёнка готова. Так и началась наша пасека. Это теперь стали ладить ульи из доски, у нас за двором не два ли десятка. А ты наблюдал за пчелой? Э-э, дурень: самое мудрое существо. Вот сяду затемно у улья, жду, даже дышу в другую сторону. Вот вылезает первая, это как бы разведка, осмотрелась и назад, погоду, наверно, доложила, и пошли они одна за одной. Дед Иоанн рассказывал, что в первые годы, когда ещё ни у кого не было ульев, он в пяти верстах от дома на клевере пчёл увидал. Конечно, могли быть и дикие, но дед Иоанн заявил:

– Наши пчелы, и направились они прямо к деревне, а не в леса. А пчела, это я узнал у толковых людей, летит по прямой. Ты видишь, в какую глушь забираются и находят дом свой. Или в улье посмотри: порядок, как у доброй хозяйки, есть специальные пчёлки, которые весь мусор выносят, я сам видел. А ещё есть у них самая главная царица, она всем командует, но есть и трутни, это такие большие пчелы, которые навряд ли мужиков, ну, тебе не надо знать. Дак они после всего этих мужиков насмерть заедают. Вообще, Матюша, женское сословие для разума не подвластное, будь ты трижды умным, а баба, если захочет, все равно проведёт. Ты давай поближе к батюшке, медок – дело тонкое, шибко много знать надо про пчелу: и как она на погоду, и как лучше ей семя рассеять, и как мёд взять, и сколько пчёлкам оставить, чтобы в зиму семья с голода не пропала. И знай: нет ничего в пчелином деле, что бы прахом шло. Даже замор случится в улье, пчёл вытряхнут, высушат и настои делают на самогонке, от многих болезней помогает. Я уж не говорю про медовуху, потому что ты не пробовал и все равно не поймёшь. А ишо народ приметил: нет другой такой работы, после которой руки стали бы чище, чем до работы. Это со пчелой. Потом ишо чего запишем.

Вот ты муравейники видел, не пробовал посчитать, сколько там муравьёв? Это только сверху, а если хоть чуть колупнуть, их там гим гимзит, ну, не счесть, сколь много. И все делом заняты, я единожды с обеда до темноты просидел рядом на пенке, ну, какие они работающие ребяташки, диву даёшься. Словили где-то гусеницу, в твой мизинец толщиной, и волокут её домой, да так споро, словно десятник командует или кто. Стало темнеть – все к муравейнику, каждый своей дорожкой. Присмотрелся – сторожа стоят, вдруг чужой забредёт – даже ночевать не пустят. Наглядишься на сии чудеса и подумаешь: «Велика твоя сила, Господи, велик ты в творениях твоих, и едва ли человек есть лучше из созданного тобой!»

– Ты, Матюша, заметил: как только на стол ставят жареную утку или гуся, а то и просто куриную лапшу, сразу кто-то из старших договариваются, кто с кем будет ломать ельчик. Есть такая косточка, как вилы двухрожковые, находят её и ломают, это как бы уговор. Надо так подать напарнику чего-нибуть в руки, чтобы он принял, а ты в то время кричишь: «Ельчик!» Все, дело сделано, выигрыш.

– А об чем спорят?

– Да по-разному. У нас в доме нет привычки спорить на деньги или на вино, упаси Господь, а иные спорят. Забылся, взял в руки поданное – ставь магарыч.

– А если не забылся, а помнишь, тогда как?

– А так и кричи, что помнишь. И все. А ещё спорят об теребачке.

– Это кто такая?

– Теребачка-то? Правило загодя обговаривается, кто во что горазд, к предмету, нельзя садиться, если не сказал, что помнишь, либо нельзя какое-то слово молвить. А ошибся, проиграл – теребачка, за чупрыну тебя возьмут и пару раз дёрнут. Ладно, если по-людски, а ведь бывает и со зла, так горсть волосьев и выдернет. Это, конечно, не славно, но знай, с кем споришь.

Дед Ферапонт ещё сказывал про покойных людей и что это такое есть смерть и как ране люди к тому относились. В родных краях, он вспоминал, покойных не оплакивали, но не от того, что не жалко, а потому что так было предписано, и так батюшка в церкви учил, что умерло тело человека, а что в нем самое главное? Знамо дело, душа, об ей молились и за спасение души терпели всякие телесные притеснения. Душа, дескать, жива, и если жил человек праведно, то душа через сорок дней попадёт в рай. Потому надо радоваться, что душа спаслась, значит, при втором пришествии Спасителя нашего Иисуса Христа воспрянет покойный и вновь станет жить. Путано, конечно, потому науку эту народ не принял, и каждого умершего жалеть стали. Ну, скажи на милость, разве мать пустится в пляс, если дите в гробике на столе, или утерпит ли слез девица красная, прощаясь с батюшкой своим умершим? Да ревел народ, и хоть ты ему тысячу слов про рай скажи, ему нужен живой дитёнок или живой батюшка, вот тут, на земле.

Но скажу тебе, что были семьи, где специально нанимали плакальщиц, вот оне и причитали над покойным: «Да куда же ты собрался? Да на кого ты нас покинул?» Ладно, если хоронят кого из молодых, а когда во гробе человек как бы на своём месте, чего по нем голосить? Вот, Матюша, помру – слезы не пусти, голоса плаксивого не подай. Чтоб не слышал! Я пожил своё, а ты в мою статью, должен ишо и пережить меня, грешного. А как приду к Господу на суд, и спросит он, праведной жизнью жил либо нарушал заповеди. И скажу смиренно, мол, Господь мой, ты всю мою жизнь видел и суди по своим законам. Господь улыбнётся и скажет:

– Апостол Пётр, отвори врата рая,пусти раба моего Ферапонта, он достоин!

Наши ребята пешим походом уходили с берега Онежского от шведа отбиваться, так передавалось, что с великими трудами добрался до нас человек и кинул клич. Вернулись года через три, много чего странного и срамного говорили об европейских краях, но за одно хвалили нехристей: могилки свои, они кладбищем называли, блюли во всем аккурате. С тех пор и наши стали ямы копать в рядок, и куток каждая семья свой заимела. Дед в родительский день водил меня на кладбище, показывал, где кто из наших сродственников зарыт, а батюшка и матушка его рядышком, столбиками место обозначено для всей породы нашей Андоминской. Кресты надобно ставить восьмиконечные, а не немецкие и иных

земель, даже грузинских. Дед пояснял, что всякий крест Христов, но православный только вот эдакой, о восьми концах.

– А ты пошто перед Крещёнием Христовым над всякими дверями простой крестик углём ставишь? – спросил я деда. Так оно и было, вечером дед обходил все окна и двери и сверху рисовал маленький крестик, а потом шёл во двор и крестил двери пригона, овчарни, конюшни. Дед недовольно крякал и отвечал:

– Сей крестик малый ставлю оттого, чтобы нечисть всякая не лезла. У мелкого беса сила махонькая, ему и такого крестика довольно, чтобы одуматься и глупостей не наделать.

Много мне пришлось писать про поход сибиряков на французов, потому что дед Ферапонт, хоть и в годах был, но пошёл в ополчение и попал в Тобольский пехотный полк.

– Матюша, война всегда штука страшная, но только нас собирать стали зараньше, мы в полку два года военное ремесло усваивали. Как штыком колоть, как ножом супротивника уничтожить. Столько мы мешков дерюжных искололи – страсть. Потом выдали нам ружья, это сурьезная штука. Мера пороха, пуля – и в бой. В бою тоже встанешь, как истукан, и со своей меркой, как приказчик у Петра Игнатьевича в лавке, видал, как он ловчит. Потому, если уж бой, то вся надежда на штык. Да, были у нас стрелки с оружием, которое называлось штуцером, их даже и в бою отдельно ставили, из штуцера можно за три сотни шагов попасть в человека.

А потом повели нас на запад. Пеший переход для солдата и в тягость, и в удовольствие, особенно летом. Народишко нас встречал с радостью, куда идём, кого бить – никто ни сном ни духом. Поговаривали, что турка, но вроде с турком уже замирение, потом про поляков, это тот ещё народишко, можно бы и повоевать. Но идем, в городах стояли неделями, отдыхали, строем ходили перед народом. Дамы в каретах платочками машут, а ты, христовый, женщину другой год не видишь... Ты, Матюша, про это не пиши. А, уже записал? Ну, оставь, оставь.

Кто-то сказал, что, пока мы по Рассее шляемся, француз к Москве подходит. Пришли мы к концу лета, в июле месяце. Погода – только сено косить да хлеб молотить. А тут с ружьём в обнимку и на каше с конопляным маслом. Опять нас повели, прошли деревню, Бородина называется. Встали в ложбине и получили приказ: вот тут стоять и не пустить француза на эту дорогу либо помереть. Большие чины приезжали верхами и в каретах, призывали:

– Сибиряки! Не посраим славу русской армии, не пустим в Москву этого, забыл... Наполеона Бонапартова.

Ну, утром и началось. Мимо нас конница проскакала, нам видать, как по ей, христовой, пушки вдарили, да в самую гущу. Развернулись робята, а те вдругорядь. И протащились мимо побитые и израненные, меньше половины. Я все коннице завидовал, красавцы, когда гарцуют на плацу. А тут посмотрел: нет, брат, ничего доброго.

А вот и на нас прут пешим строем французы, почему-то хоругвь тащат, штук десять. Потом объяснили, что знамёна ихние. Ну, встретили, раз пришли, по два выстрела сделали, и в штыковую. Матюша, кровь на мне человек многих, потому как колол во все стороны, останавливаться нельзя, иначе затопчут. Этак мы часа два где с молитвой, где с матерком. Отступил француз. Нас построили и повели батарею нашу охранять. И правильно сделали, потому как только мы подошли, налетели всадники, а в шлеме конский хвост. Отчаянные робята, хоть и французы, но мы отбились, а пушкарки в это время своё дело работали. Когда баталия закончилась, подъехал чин и спасибо сказал за смелость. А уже на другой день пуля пробила мне правую руку, когда лекарь осмотрел, сказал, что кость не задета, а мясо нарастёт. И выдал мне гумагу, по которой отправился я домой. Вот так четыре года не пахал и не сеял. За десять вёрст зачуял родные места, слезьми уливался, не шёл, а летел.

Я ещё совсем малый был, а помню, как весной мы всей семьёй ходили на кладбище и после молитвы в маленькие ямки осторожно укладывали крохотные сосновые веточки с корешками, а другие люди везли из своих полусадиков сирень, черёмуху и высаживали у могил своих родственников. А летом общество наняло

несколько мужиков, и они вырыли вокруг кладбища глубокий ров, чтобы скотина не блудила и не выворачивала кресты, как пояснил дед Ферапонт. Мы с ним целый день провели на кладбище, дед принёс с собой лопату и изредка спускался в канаву, выбрасывал наверх несколько горстей сухой и крепкой глины.

– После, Матюша, как меня зароят, ты станешь приходить ко мне в гости и будешь вспоминать, что и сосны мы с тобой садили, и канаву рыли. Сосны будут богатые, окладистые, шумные, а кусточки эти каждую весну столько ароматов напустят, что, к предмету, в Троицу придёшь ты, а тут не кладбище, а праздник.

Правду сказал дед Ферапонт, сосны разрослись, шумят грозно, от черёмухи цвета весело и красиво, а сосны немножко страх нагоняют, да ещё ворон поселился, а эта птица боговой никогда не была. Однако, чему дивиться? Где смерть, там есть ли место для веселья и радости? Уместно ли над могилой родного человека вдруг засмеяться? Не знаю, грех это и неуважительное отношение, подлежит осуждению.

Ты, Матюша, хоть и домовитый, а все же на улицу ходишь с ордой в игры балуетесь. Я тебе скажу, в какие игры мы играли. Самое главное – прятки, а перед тем считалки. Мы считали «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты будешь такой?» А ишо было: «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты – на базар. Аты-баты – што купили? Аты-баты – самовар. Аты-баты – а какой он? Аты-баты – золотой!» Потом стали бабки, скота много было, косточек наберём, в ряд поставим, и специальной железной плиткой надо этот ряд сбить. До тонкостей не помню, но игра шибко интересная, ну, ты же знашь. Так и пропиши. А вот: мячик катали из коровьей линьки, бросят его вверх, надо поймать, чтобы выиграть. А тот, кто кидал, говорил: «На кого Бог нанесёт!» Или идёшь ты к ребятам, а в кармане сушёные пареньки морковные. Ты восклицаешь: «Ком-кому?» И все отвечают: «Мне одному». А раздавал всем. Что это было? Да просто забава...

Надобно сказать и о пище нашей, о которой дед Ферапонт столь азартно излагал, что я слюнками давился, так ловил запахи, так понимал вкусы той еды. Прежде всего, указывал дед, еда никогда не считалась первым делом, на первом месте всегда была работа. А вот когда наработаешься, тогда и пища другой вкус имеет. В зимнее время никогда не садились за стол без щей или супа. Вот, опять тороплюсь, потому забываю главное: перед тем, как сесть за стол, все молились. Молитву обычно читал дед Ферапонт:

– Христе Боже, благослови ястие и питие рабам твоим, яко свят еси, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Потом чинно садились, за ложку не хватался, кому как вздумалось. Все степенно. Дедушка отламывает кусок ржаного хлеба, берет свою деревянную ложку, легонько крестит её, отгоняет жир от берега большого блюда со своей стороны и черпает сверху, под ложку подставляет кусочек хлеба, чтобы на стол не капать, аккуратно дует на ложку и тихонько отпивает жижку. Тогда все принимаются, но спокойно, чтобы ложки в блюде не женить, то есть не цепляться. Блюдо большое, но бывало, что матушка добавляла две-три поварешки. Мясо в супе тоже было рассчитано на всех, кусочки однаки, потому обид быть не может.

Случались и конфузные происшествия. В одной семье свёкор, хозяин то есть, недолюбливал невестку. И вот, зимой дело было, ставит она на стол большое блюдо наваристых штей со свиной. А свинина жирная, жирком верх подёрнулся, и пар не идёт. Свёкор ложку на стол бросил:

– Што ты мне холодные шти ставишь?

Девка испугалась:

– Как холодные, только с огня сняла?!

А сама хватъ полную ложку штей и все во рту сварила. Конечно, мужик тот нехороший человек, ты не люби невестку, это твоя правда, только изгаляться над человеком не можно. Да и над скотиной тоже так же, если по-человечьи...

Изо стола не могли выскочить, пока все трапезу не закончат, а потом дедушка Ферапонт встанет, повернётся к иконостасу и, трижды перекрестившись, пропоёт, и мы все следом:

– Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных благ, не лиши нас и небесного твоего царства, но яко посреди учеников твоих пришёл еси, Спаси, мир дай им, приди к нам и спаси нас!

Я уже большенький был, когда отец ездил по решению схода на губернский крестьянский сбор, там давали богатый обед, и батюшка привёз большую коробку с посудой, сказал матушке:

– Отныне будем каждый из своей тарелки есть, так требуется по нынешним временам.

– Отец, дак ведь своя семья!

– И что с того? Нет, мать, привыкай.

Вот я говорил о супе. Суп – это когда картошка с крупой какой-нибудь и с мясом, конечно, сварены. На топлёном свином сале матушка обжаривала лук, иногда с морковкой, а мне больше глянулся суп, подбитый обжаренной мукой. Если суп куриный, то непременно подбивали его взбитыми яйцами.

Щи же варились с капустой и другим овощем, томились в вольном печном жару, отчего делались красными и вкусными. Щи полагалось убелять сметаной, тут каждый добавлял, сколько хотел. И суп, и щи должны быть густыми, потому что в воде силы немного, а ели для того, чтобы работать, как следно быть.

Мясо в нашей семье не выводилось, и готовила его матушка то с картошкой, то с капустой, иногда просто жарила небольшие кусочки в сковороде. На воскресенье часто лепили пельмени. Тяжёлую мясорубку батюшка привёз из города с ярманки. В пельмени добавляли лук, а ещё для забавы в один пельмень кто-то из старших закладывал уголёк.

Попал тебе такой пельмень – скрыть невозможно, уголь хрустнет, но должно проглотить. Договоры бывали разные, например, съевший пельмень с углём освобождался от какой-то работы или, напротив, обязан был всю неделю возить воду с речки для скота на санях в трёх бочках. Конечно, если деду или матушке выпадало, то просто повеселились и без всяких заданий.

Ещё вот о студне. Студень варили в охотку, он едой не считался, а как бы прибавка. Брались лытки свиные и скотские, на огне обрабатывались от шерсти и щетины, ошпаривались и гоились так, что были как игрушки. Потом уши свиные тоже гоились. Брали большой казан, чтобы кости не рубить, не славно, когда в студне острая косточка и тебе в небо воткнется. На любителя можно добавить куски мяса, но наши так не делали. Все это долго варилось, соль – кому сколь глянется, а приправа потом. Когда все упрело, варево остужают, обирают мясо от костей, сухожилия и прочее, потом в корытце рубят. Корытце небольшое, внутри полукругом, сечка по этому размеру, измельчили, по посудинам разложили и жижкой той заливают. Туда же чесночок, луковочку, горох перцовый, от лавра листик. И в прохладное место, лучше в погреб.

Погреб у нас был большой и холодный, зимой всякая овощ сохранялась, а летом молоко по два дня не скисалось, бывало, пошлют за чем – минутки лишней не удержишься. Был в погребе отдельный сусек, куда весной лёд спускали, укутают его, как ребёнка, а внутри мясо сохраняется от зимних забоев, на всю посевную хватало. Когда студень схватится, его режут хрушками ломтями и на плоском блюде ставят на стол. Берёшь ломоть в ложку, а он трясётся весь, а внутри кусочки чеснока и лук полумесяцем. Вкуснятина.

Особо о хлебе. Горе той семье, где хозяйка не умеет хлебы стряпать. Хлеб всегда был самым главным продуктом, в Сибири даже пельмени с хлебом едят, одни блины разве без прикуски. Я сам наблюдал, как матушка квашню заводила. На полке стояла селница, большое деревянное корыто, выдолбленное батюшкой из толстого дерева. В селнице мука. Если матушка видит, что маловато будет, пошлёт кого-то в амбар с лукошком, принесут. Бывала квашня ржаная, бывала пшеничного помола, а ещё бывала на праздники крупчатка, особо мелкая мука, её ещё сеянкой звали. Эта только на сдобу. Насеяла матушка муки сколь надо, ставит закваску. Для этого у неё в квашне кусочек теста оставлен. Размочит его, мучкой приправит, и в тепло, на печь к чувалу либо прямо в печурку.

Опять объяснять надо, потому как сейчас делают уже по-иному. Раньше русские печи били из красной глины, были такие мастера, что и своды били, и

стояли они, сколь дом простоит. Глина материал мягкий, а после сбоя плотный делается и терпеливый. Передняя часть печи для хозяйки, называлось цело. Тут шесток, как площадка перед печью, посредине обломок зеркала обмазывали, это в бедных семьях, где большого зеркала не было. В цеце делались два полукруглых углубления, в них всегда тепло и сухо. Можно серянки хранить, рукавички засунуть подсушить, там же и лучинки строганные лежали, когда керосина не было, зимой ужинали при лучине. Воткнут её посреди стола, кто-то отгоревшие угольки снимает. Все видно, ешь на здоровье. А рано утром матушка сперва лучинку зажигала, а потом печь растапливала. Дрова в печь не кидали как попало, а на лопате подавали и укладывали клеточкой, чтобы горели лучше, но это ещё с вечера.

Дальше про хлеб. На этой закваске матушка замешивает тесто в квашне. Квашня делалась круглая, как небольшая бочка, сверху две ручки, две дощечки пропущены повыше, и в них отверстия вырезаны под руки стряпухе. И начинает квашня гулять, бродить, в избе дух кисленький, приятный. Я сплю на полатах и могу посмотреть. Матушка оставит квашню и приляжет, но не долго. Тесто прёт из квашни, надо его промешивать, и так несколько раз. Только матушка и знает, когда тесто можно вывалить в селеницу и наминать его, уплотнять, и тоже не раз. Опять же наступает время, когда матушка начинает булки или калачи готовить. Отрежет кусок теста, намнёт его как следно быть, потом укладывает на широкие железные листы, все займёт, и залавок в кути, и стол. Хлеб должен вытронуться, ещё говорят – подняться. Вот в это время не дай Бог тебе проснуться и на двор помочиться бечь, матушка цыкнет:

– Тихохонько дверью-то, а то хлеб упадёт.

Я всегда хихикал, когда проснувшийся батюшка вдруг начнёт чихать, да так громко, что матушка бежит в комнаты и выводит его на крыльцо. Считалось, что если в это время случится какой-то громкий звук, булки осядут и хлеб «не удастся». Отдельно на широких плашках стоят булки, которые будут выпекаться на печном поду. Когда дрова прогорели и печь нагрелась, сперва в чугунах и горшках суп варится и каши, или мясо в жаровне. Для хлеба печь освобождается, матушка гусиным крылом под печкой выметет и сажит с широкой лопаты булки и листы с калачами. Печь прикроет заслонкой, но поглядывают, чтобы не жарко было. Вот тогда такой сладкий дух пойдёт по всему дому, а через открытый чувал и на улицу, выйди на дорогу и сразу скажешь, в каком доме сегодня хлебы пекут.

У нас всегда был самый вкусный хлеб, бабы приходили, завидовали, хвалили матушку, а она потом улыбалась:

– Та же мучка, да другие ручки.

И моя Дарьюшка от матушки все переняла, бывало, только та зашевелилась в кути, Дарьюшка обнимет меня крепко, поцелует и прямо на рубаху широкое домашнее платье наденет, умоет лицо и руки под рукомойником и к матушке:

– Помогу вам чего и сама поучусь.

– Доченька, шла бы ты в постель к мужу своему, на утренней зорьке ох как сладко спится с любимым. Правду я говорю?

– Святая правда, матушка, только я тоже хочу путней хозяйкой быть и чтобы муж мною гордился перед товарищами своими. Я ему не сухую корочку в дорогу положу, а пирожок тёпленький да калач мягкий.

Я вон какую жизнь прожил, а не приходилось ни самому зрить, ни от добрых людей слышать, чтобы свекровка так сноху любила и сноха чтобы чужую женщину при живой-то матери матушкой родимой звала, даже при чужих людях.

Вот писаны тут ещё, какие удивительные штуки наши бабы умудрялись из ничего изготовить. Возьмем кулагу, разобраться – проще репы пареной, а какой вкус и какая пользительность. Берут лукошко ржаной муки, кипятком заваривают и дают постоять, чтоб остыло, потом заквашивают обыкновенной квасной гущей, какая в любом доме есть. Тут дают опять постоять, с вечера до утра. Утром опять кипятком разводят, кто как любит. Дед Ферапонт, к предмету, любил густую кулагу, чтобы ложка стояла. А иные её пьют, такая жидкая. Когда в русской печке весь жар загребли, корчагу с кулагой ставят в вольный жар, а к вечеру уже готова. И сладка, и кисленька, и ядреность в ней есть – любо-дорого кушанье.

Ещё вот про сладости. В старые-то годы вообще никакого сахара не было, а организм сладкого требует. Вот и натакались наши женщины сусло гнать. Сначала рожь чистую замачивают тёплой водой, а когда она пропитается, выкладывают ровненько на широкие доски. Рожь быстро росточки даст. Потом её солодят, держат в тепле день-другой, она сладкая делается, тут её в корчагу и вполовину почти разбавляют ржаной мукой, а потом в печь, в вольный жар. А корчага та не простая, в самом низу у доньшка дырка есть, и она пробкой заткнута. Когда хозяйка видит, что сусло готово, достаёт корчагу, ставит на залавок и под дырку другую посудину. Вынула пробку, сусло и потекло: янтарное, дух такой, что слюной давишься, тычет долго, а когда все вышло, отходы пороссятам, они это дело шибко любили. А сусло – куда хошь, и ложкой ухватишь, и хлебушком помакать.

А какие квасы ядреные делали наши бабы, в нос шибает, а пить приятно. И пиво ладили хмельное, и все хлебное, своё.

Матушка наша, когда поста нет, молочных ососков, пороссяток махоньких, любила опять же в вольном жару русской печки запекать с гречневой кашей и коровьим маслом. Моя Дарьюшка тоже умела, а вот снохи и дочери не сподобились, ни одна ни разичку не пригласила:

– Батюшка, завтра ососка стану печь, дак ты приходи.

Нет, не умеют. Боюсь, что так и растратим все умение дедов и прадедов своих.

В посты питание особое, без мяса, без молока, только никто от того не прятался, а жили как жили и робили так же. Разве пост только в еде? С едой беды не было, потому как в запасах всегда было всего: рыба солёная, копчёная, сухая; грибы солёные и сушёные; всякая и во всех мыслимых видах, масло постное конопляное, льняное, рыжиковое, из подсолнухов; а ещё сусло, солод, мука всякая, картошка и овощ разный, и тоже и в солонине, и живьем в погребе сохраняется. Да мы и не замечали, что еда стала хуже или иного вкуса. Благословясь, все вкусно и для души, и все съедалось, одни оторонки оставались. Зато после поста всегда устраивали праздник, с большой молитвой и смиренным кушанием всего, чего душа возжелает.

И посты блюли, Матюша, и гулять умели буйно да весело. Окромя свадьбы, за столы садились по большим праздникам после церковной службы. Подавали пиво ржаное, медовуху, еды всякой должно быть на столе. Пьяных не бывало, так, навеселе. Я первый разик увидел шибко пьяного, когда на ярманку приехал. Так и понял, что бес влез в человека и блажет. Страшно смотреть, кто-то из крепких мужиков подошёл к пьянице и крест с шеи сорвал. Сразу легче стало. В гости ходили по родству и по дружбе. Деревня большая, никто ни с кем не ругался и не спорил, а в компанию незван не пойдёшь. И угощали от всего сердца. А присказку эту, мол, кума, ешь девятую шанежку, я ведь не считаю, придумали, сроду такого в православном народе быть не могло.

Обидно, надо тебе признаться, внучок, народ наш не весь однак, не все люди работащи, были, да и таперика есть, кто зорьку не ждёт, кто любит попотягаться, ленивые, одним словом. Я все себе загадку задавал: откуда они взялись? Ведь робить, чтобы семью кормить, чтобы чего-то иметь в доме и в хозяйстве, – это же самое простое понятие в жизни. Ан нет! Не хочет робить. Новой раз зову:

– Ананей, пособи рожь жать, на всю зиму хлебом обеспечу.

А он в ответ:

– Благодарствую, дяденька Ферапонт, мы, как птички небесные, не сеем и не пашем, а сыты бываем.

Стыжу его:

– Ну, соберёшь ты картошки пять корзин, тебе же с семьёй не хватит на зиму.

– Хватит, дяденька, ещё и останется, а то, что останется, тоже съедим, да ещё и не хватит!

Видал ты его такого безалаберного и бесстыжего? И куды с ним? А ведь жили, мы же и прикармливали, куды денешься. Вот порода, видно, какая-то веточка от русского человека в сторону вильнула, без дьявола тут не обошлось, это, спаси Господи, сущая правда.

Дедушка Ферапонт веры Христовой был такой крепкий, что скажи ему, что надо за Бога голову на плаху положить – даже думать не станет, шапку скинет и густой бородой опрётся в колоду: руби, палач! Это я почему знаю? Сам дедушка говорил. Ещё учил, что русскому человеку иначе нельзя, столько у него врагов по белому свету, что погибель ждёт, то есть дьявол ждёт момента, чтобы русский человек в вере хоть чуточку усомнился, и тогда ему конец. Вот и стал он хлопотать, когда на новое место пришли, что надо храм строить непременно. Общество его снарядило и отправило в Тобольск ко Владыке Тобольскому и Сибирскому, звали его Варлаам. Тот благословил и в тот же год человека прислал, мастера. Сперва место освятили в самом центре деревни, водружальный крест поставили, а потом начали яму копать под основание, подходящую глину нашли, стали кирпич бить и обжигать тут же. Вся деревня работала, даже ребятишкам дело сыщут. Дедушку старостой избрали, и оставил он все хозяйство на сынов своих, а сам подался по округе собирать деньги на строительство. Мастер присланный такие деньги заломил, что в деревне столько отродясь не бывало, но городские церкви давали, и купцы давали, кто скрытно, чтоб без огласки, а кто требовал, чтобы имя и звание было отлито на колоколах.

Свои крестьяне тоже раскошелились, несли, да и немало. Ещё много ушло яиц куричьих, потому что в раствор надо было добавлять. Дедушка говорил, что шелуха от яиц под сапогами хрустела.

Дед Ферапонт все учитывал, деньги хранил в железном ящике, а мастеру выдавал под расписку при двух свидетелях. Три года строили, да год богомазы картины рисовали и иконы. А потом и колокола привезли, по снегу, на широких санях, шесть лошадей цугом запряжены были. Дед Ферапонт говорил, что колокола подымали на верёвках и ремённых вожжах, с молитвой, мужики на связанных лестницах с двух сторон поправляли, укрепили большой колокол в пятьдесят пудов по центру необхватного листовенного бревна, а с мелкими уже проще было. И в аккурат в Троицу Владыка приехал, а у нас разлив, большая вода пришла, ещё не успокоилась, то тут, то там буруны. Везли его на большой лодке, да две рядом на всякий случай. А Владыка в сурьезных годах, как сел на лавку, так и не пошевелился, все молитву читал. Он ещё на берегу сказал:

– Не пугайтесь, дети мои, Господь не попустится, мы же на святое дело едем, он нас и охранит.

Батюшка иерей Фока уже не два ли года к тому времени в деревне жил, певчих набрал, пасаломщиков, пономарей. И на торжественном молебне певчие так грянули: «Господи, слава Тебе!», что Владыка прослезился.

Дед Ферапонт пал Владыке в ноги:

– Владыка Варлаам, благословение твоё я исполнил, как мог, а теперь ослободи меня от ноши сей, ибо я крестьянское своё хозяйство совсем запустил, а раба более верного у Господа до самой моей кончины не будет.

Владыка поднял деда с колен и сам встал перед ним. Мир ахнул.

– Не я, а ты тут хозяин, и не волен я давать тебе указания. Господь сам строит храмы, только руками людей своих, и счастлив тот, на кого падет этот выбор. И ты, раб Божий Ферапонт, снискал себе место у трона Царя Нашего Небесного среди других верных детей его.

Дедушка всегда плакал при этих словах, я только потом понял, что со временем забылось имя устроителя храма и дедушка ревновал всех служителей церкви, кто ходит в ней хозяином, кто касается её стен и её икон.

Ещё дед рассуждал:

– Матюша, много чего хрупкого на свете, вот хрустальную чашу купец Назар Наумович привёз, а приказчик, подлец, пьян, аки свинья, за чашу ухватился, да на ногах-то не устоял, рухнул. И чаша та в мелки дребезги. И в каждом человеке есть такая чаша, только название ей другое, совесть она зовётся, запомни это. Если сия чаша хоть чуточку треснула, уже никаким клестером ты её не склеишь. Есть единый способ сохранить в душе чашу совести – это вера в Господа нашего Иисуса Христа. Гляди, ежели вера в одном человеке разжижла, то его беда, а если целый народ от веры отшатнётся – гибель тому народу. Таких случаев в Библии описано множество. Ну, это ты потом поймёшь.

Вот этот рассказ дедушки Ферапонта даже переписывать страшно, когда он мне это рассказал в те годы, когда я парнишкой был и в амбарную книгу заносил наши разговоры, рассказал и ушёл, а я один остался, и писать было жутко. А говорил он, что в ночь на Рождество Христово стоял он в храме, им же построенном, и молился истово, потому что со строительством храма вера в нем вовсе окрепла. И все вокруг молятся исправно, и крест кладут, и поклоны бьют, как положено по уставу. Когда запели «Христос рождается!», дедушка пал на колени и чуть сознания не лишился, потому что видит на полу не ноги человеческие, а копыта, и копыта те грязные, друг об дружку шаркаются, и грязью уже весь пол церкви загажен. Я сразу-то ничего не понял и спрашиваю:

– Дедушка Ферапонт, откуда же в храме скотские копыта?

А он отвечает:

– Вот и я так сперва подумал, а потом понял: Господь открыл мне глаза и показал, кто воистину в храме стоит. Люди, знамо, но веры-то в них ни на грош нету, так, стоят, лбы крестят, конца службы ждут. Вот дьявол-то и пролазит в телесное человеческое состоянье и к душе, к душе тянется, тело ему не надо. А уж коли копытцами прихожане, не все, конечно, застучали, стало быть, добился своего сатана, в души многих проник. Вот тогда и обратился я к миру с просьбой единовременно после трёх дней сухого поста, когда маковой росинки во рту не должно быть, пойти на исповедь и клятвенно Господа заверить, что ни одной воскресной службы не пропустим, чтобы не завелась у нас в селе чертовщина и не погибли мы все в геенне и тартаре. Народ меня одобрил, может, тем и спаслись. А соседняя деревня тем годом выгорела дотла.

Вот и думай. А ещё вот что, внучок, я тебе особо скажу. За мою жизнь многие наши ребята уходили служить в армию. Большое горе для семьи, все-таки кормильца забирают, правда, не последнего, всегда считали, что в доме ещё есть мужики. Бывало, и ворочались, но уже подержанные, здоровья нет, а то и израненный весь, только и радости, что дома помер. Приходили и по ранению, тогда лечили и жил человек мирной жизнью, но, Матюша, уже другой человек. Если пришлось в живого человека штыком колоть и видеть, как из него душа выпрастывается, после человеком оставаться не можно. Я так думаю. И видел таких ребят. Война – дьяволом подсунутая штучка. Отчего цари да султаны воюют? За землю, а на земле народишко, а в земле камушки да золотые слитки. Вот бес и терзат, султан ночей не спит, в поход надо. А царю нашему что остаётся? Кликнет народ, пошли, робята, султана воевать. Вот тебе ещё жить да жить, и увидишь ты на своём веку много всего, только войны бы тебе избежать. Я хоть и бывал, Господь призвал, но, Матюша, быка колешь, а у самого сердце кровью исходит, а там люди. Сказывают, бывают народы черные, как головёшки, и ростом в две головы выше, силы небывалой. Говорил один солдат, что такого можно только из фузеи застрелить, и вот уронили его и все сбежались: диво же! А из грудины чёрная кровь так и хлещет. Страшные времена наступают, Матюша, так что молись, Господь для того и пришёл, чтобы за нас постоять.

Вот переписываю листочки, что дедушка Ферапонт наговорил, и своего многое вспомнилось, охота поделиться и нашей жизнью. Сибирь – она Господом создана для людей, потому не сразу её и разоблачили большие народы, а малые жили тут, как дети. Мне довелось в дальней поездке повидать вогулов да остяков – ну дети, чистые дети. А когда серьёзный народ пришёл, тут и хлеба стали расти, и мясо вывозили на ярмонки, а какое масло коровье бьют на наших маслобойнях – нигде такого не сыщешь, ко столу своего Государя, и, сказывают, английская королева без нашего масла за стол не садится, капризничат. А скус масла особый оттого, что травы у нас отдельные, нигде нету таковых, они и вкус придают, и запах манящий.

Несколько листочков ещё осталось, это дедушка сказывал про свои края, что помнил. Тоже, верно, земля знаменитая, но суровая даже супротив Сибири, промысел один – рыба, а море опасная штука. Конечно, хотелось бы хоть одним глазком глянуть на землю пращуров...

Писано октября 25 дня 1917 года от Рождества Христова.

Приписка от М.П. Андоминой

Когда я уже собралась отправлять Вам эту рукопись, вся наша большая семья собралась, и решили мы пригласить Вас к нам в гости, вместе отметить 250 лет с той поры, как предки наши ушли от Онежского озера, которое они называли морем. Дело в том, что в книгах Матвея Гордеича нашлась бумага от Вологодской земельной управы и там дата: 1763 год.

К сему М.П. Андомина